

Роберт Музиль Душевные смуты воспитанника Тёрлеса

Как только мы что-нибудь выскажем, мы это удивительно обесцениваем. Мы думаем, что погрузились в бездонную глубину, а когда возвращаемся на поверхность, капля воды на бледных кончиках наших пальцев уже не похожа на море, откуда она взялась. Мы мним, что открыли замечательные сокровища, а, возвращаясь на дневной свет, приносим с собой лишь подделки под драгоценные камни и стекляшки, и все-таки сокровище по-прежнему мерцает во тьме.

Метерлинк

Маленькая станция на линии, ведущей в Россию.

Бесконечно прямо уходили в обе стороны четыре параллельные рельсовые нитки между желтым гравием широкого полотна: возле каждой, как грязная тень, темная полоса, выжженная отработанным паром.

За низким, выкрашенным масляной краской станционным зданием широкая разъезженная улица поднималась к вокзалу наклонным въездом. Ее края терялись в вытопанной кругом земле, и распознать их можно было только по двум рядам акаций, уныло стоявших с обеих сторон, с иссохшими, задушенными пылью и копотью листьями.

То ли из-за этих унылых красок, то ли из-за бледного, бессильного, утомленного дымкой света послеполуденного солнца в предметах и людях было что-то безразличное, безжизненное, механическое, словно их выхватили из сцены кукольного театра. Время от времени, через одинаковые промежутки, начальник станции выходил из своего кабинета, глядя вдаль, одинаково поворачивая голову, ждал из сторожек сигналов, которые все еще не возвещали приближения скорого поезда, надолго застрявшего на границе; одинаковым движением руки он доставал затем свои карманные часы, качал головой и исчезал снова — как приходят и уходят фигурки, возникающие на старинных башенных часах на исходе часа.

По широкой утрамбованной полосе между рельсами и зданием прохаживалась оживленная компания молодых людей, шагая слева и справа от немолодой супружеской четы, находившейся в центре их несколько громкой беседы. Но и оживленность этой группы не была настоящей; шум веселого смеха умолкал, казалось, уже через несколько шагов, словно падал наземь, наткнувшись на упорное невидимое препятствие.

Госпожа надворная советница Тёрлес, дама лет сорока, прятала за густой вуалью грустные, слегка покрасневшие от слез глаза. Надо было прощаться. И ей было тяжело снова оставлять свое единственное дитя на такой долгий срок среди чужих людей, без возможности самой оберегать своего любимца.

Ведь городок этот находился далеко от столицы, на востоке империи, среди пустынных сухих полей.

Причина, заставлявшая госпожу Тёрлес мириться с пребыванием своего мальчика на такой далекой, неприютной чужбине, состояла в том, что в этом городе находился знаменитый интернат, который с прошлого века, когда он был построен на земле одного богоугодного фонда, так и оставили на отшибе, затем, вероятно, чтобы оградить подрастающую молодежь от пагубного влияния большого города.

Ибо здесь сыновья лучших семей страны получали образование, чтобы, покинув это заведение, поступить либо в высшую школу, либо на военную или государственную службу, и во всех этих случаях, как и для вхождения в высший свет, быть выпускником интерната в В. считалось особой рекомендацией.

Четыре года назад это заставило супругов Тёрлес уступить честолюбивому напору их мальчика и добиться его приема в училище.

Решение это стоило позднее обильных слез. Ведь с той минуты, когда за ним безвозвратно закрылись ворота училища, маленький Тёрлес страдал от страшной, страстной тоски по дому. Ни уроки, ни игры на больших, пышных лужайках парка, ни другие развлечения, которые предоставлял интернат своим воспитанникам, не способны были занять его. Он видел все только как бы сквозь пелену, и даже среди дня ему часто бывало трудно подавить в себе упорное всхлипывание; а по вечерам он всегда засыпал в слезах.

Он писал письма домой, почти ежедневно, и жил только в этих письмах; все прочее, что он делал, казалось ему лишь призрачным, пустым времяпрепровождением, безразличными вехами, как цифры на циферблате. А когда он писал, он чувствовал в себе нечто особое, исключительное; как остров, полный чудесного солнца и красок, поднималось в нем что-то из того моря серых впечатлений, которое холодно и равнодушно теснило его со всех сторон изо дня в день. И когда он среди дня, за играми или во время уроков, думал о том, что вечером будет писать свое письмо, у него было такое чувство, будто он носит на невидимой цепочке потайной золотой ключик, которым он, когда этого никто не увидит, откроет калитку чудесного сада.

Примечательно, что в этой внезапной, изнуряющей привязанности к родителям было что-то новое и поразительное для него самого. Он прежде не подозревал о ней, он отправился в училище с радостью и добровольно, он даже засмеялся, когда его мать при первом прощании не удержалась от слез, и лишь после того как он пробыл несколько дней один и чувствовал себя относительно хорошо, это прорвалось в нем вдруг и стихийно.

Он принял это за тоску по дому, за тягу к родителям. На самом же деле тут было нечто гораздо более неопределенное и сложное. Ибо «предмета этой тоски», образа его родителей тут, собственно, вовсе не содержалось. Я имею в виду некую пластическую, не просто головную, а телесную память о любимом человеке, которая вызывает ко всем чувствам и во всех чувствах сохраняется, так что неизменно ощущаешь его молчаливое и невидимое присутствие. Эта память вскоре затихла, как отголосок, который звучит недолго. «Милых, милых родителей» — так он обычно говорил это мысленно — Тёрлес уже не мог тогда, например, воочию представить себе. А когда он делал такую попытку, вместо образа родителей в нем вспыхивала беспредельная боль, мука которой его карала и все-таки заставляла упорствовать, потому что ее жаркое пламя и жгло его, и в то же время приводило в восторг. Мысль о родителях все больше становилась для него просто поводом вызвать в себе это эгоистическое страдание, которое умыкало его в свою сладострастную гордость, как в уединенность часовни, где сотни горящих свечей и сотни иконных глаз кадят среди пыток самобичующихся...

Когда затем его «тоска по дому» ослабела и постепенно исчезла, это ее свойство стало видно довольно ясно. Ее исчезновение не повлекло за собой долгожданной удовлетворенности, а оставило в душе юного Тёрлеса пустоту. И по этой своей опустошенности, незаполненности он понял, что утратил не просто тоску, а нечто положительное, некую душевную силу, что-то такое, что увяло в нем под предлогом боли.

Но теперь это прошло, и этот источник высокого блаженства стал для него ощутим лишь благодаря тому, что иссяк.

В это время снова исчезли из его писем следы пробуждавшейся души, и место их заняли подробные описания жизни в училище и новообретенных друзей.

Сам он чувствовал себя при этом обедненным и голым, как деревце, которое после неплодоносного цветения вступает в первую зиму.

А родители его были довольны. Они любили его с большой, бездумной, животной нежностью. Каждый раз, когда у него кончались каникулы, дом ее казался советнице снова пустым и вымершим, и после каждого такого приезда она еще несколько дней со слезами на глазах ходила по комнатам, ласково дотрагиваясь до предметов, которых касались взгляд мальчика или его пальцы. И оба были готовы сложить за него голову.

Неловкая трогательность и страстная, упрямая печаль его писем причиняла им боль и приводила их в состояние напряженной чувствительности; веселое, довольное легкомыслие,

следовавшее затем, вселяло радость и в них, и они его посильно поддерживали в надежде, что преодолели какой-то кризис.

Ни в том, ни в другом они не узнали признака определенного психологического развития, принимая и боль и успокоение за естественное следствие данных обстоятельств. Что то была первая, неудачная попытка молодого, предоставленного самому себе человека развернуть внутренние свои силы, — это от них ускользнуло.

Тёрлес испытывал теперь большое недовольство и тщетно искал ощупью чего-то нового, что могло бы поедут жить опорой ему.

Один эпизод этой поры был типичен для того, что готовилось тогда в Тёрлесе к дальнейшему развитию.

Однажды в училище поступил молодой князь Г., отпрыск одного из самых влиятельных, старинных и консервативных дворянских родов империи.

Все другие находили его кроткие глаза пошлыми и жеманными; над его манерой стоя выпячивать одно бедро и при разговоре медленно играть пальцами они смеялись, как над бабьей. Но особенно они издевались над тем, что в интернат его доставили не родители, а прежний его воспитатель, *doctor theologiae* и член монашеского ордена.

А на Тёрлеса новичок с первого взгляда произвел сильное впечатление. Может быть, тут повлияло то обстоятельство, что это был принятый при дворе принц, но во всяком случае это была другая, неведомая раньше человеческая порода.

Над ним еще, казалось, как-то витали тишина старинного замка и благочестивых занятий. При ходьбе он делал мягкие, гибкие движения, с тем немного робким стремлением сжаться, стать уже, которое связано с привычкой шагать прямой походкой через пустынные анфилады, где другой, кажется, наткнется на невидимые углы пустого пространства.

Общение с принцем стало для Тёрлеса источником тонкого психологического наслаждения. Принц заронил в нем то знание людей, которое учит узнавать и чувствовать другого по интонации, по манере брать что-то с руки, даже по тембру его молчания и осанке, с какой тот вписывается в пространство, словом, по этой мимолетной, едва ощутимой и все же единственно настоящей, полновесной манере быть чем-то душевно-человеческим, которая облекает ядро, облекает осязаемое и поддающееся обсуждению, словно оболочка остов, узнавать и чувствовать другого так, чтобы предвосхитить его духовный облик. Тёрлес жил это короткое время как в идиллии. Его не смущала религиозность нового друга, которая ему, Тёрлесу, вышедшему из буржуазно-вольнодумной семьи, была, в сущности, совершенно чужда. Он принимал ее без малейших сомнений, она была в его глазах даже каким-то особым преимуществом принца, ибо усиливала характер этого человека, ничуть не схожий, как он чувствовал, да и совершенно несравнимый с его собственным.

В обществе этого принца он чувствовал себя примерно как в стоящей в стороне от дороги часовне, и потому мысль, что там ему, собственно, не место, совершенно исчезала от удовольствия глядеть на дневной свет через церковное оконце и скользить взглядом.

Потом вдруг произошел разрыв между ними. Из-за глупости, как потом должен был сказать себе Тёрлес.

Однажды они все-таки поспорили о религиозных вещах. И в этот миг уже, собственно, все кончилось. Ибо как бы независимо от Тёрлеса разум его неудержимо накинута на принца. Обрушив на него иронию разумного человека, Тёрлес варварски развалил филигранную постройку, в которой привыкла жить эта душа, и они в гневе разошлись.

С тех пор они больше не сказали друг другу ни слова. Тёрлес, правда, смутно сознавал, что совершил нечто бессмысленное, а неясное, чисто эмоциональное знание говорило ему, что эта деревянная линейка разума не вовремя разбила что-то тонкое и сладостное. Но это было нечто, находившееся, безусловно, вне его власти. Навсегда, пожалуй, осталась в нем какая-то тоска по прошлому, но он, казалось, очутился в некоем другом потоке, все больше отдалявшем его от прошлого.

А через некоторое время и принц, который чувствовал себя в интернате неважно, отчислился.

Вокруг Тёрлеса сделалось совсем пусто и скучно. Но он тем временем стал старше, и половое созревание начало глухо и постепенно его захватывать. На этом отрезке своего развития он завязал несколько новых, соответствующих дружб, которые приобрели для него позднее большую важность. Например, с Байнебергом и Райтингом, с Моте и Гофмайером, именно с теми молодыми людьми, в чьем обществе он провожал сегодня на поезд родителей.

Как ни странно, это были как раз самые скверные из его сверстников, правда, одаренные и, разумеется, хорошего происхождения, но порой до грубости буйные и строптивые. И то, что именно их общество привлекло теперь Тёрлеса, объяснялось, вероятно, его собственной несамостоятельностью, которая, после того как его оторвало от принца, была очень велика. Объяснялось такое даже намеренным усилием этого отрыва, страхом перед слишком тонкими сантиментами, по контрасту с которыми в поведении других товарищей было что-то здоровое, крепкое, жизнеутверждающее.

Тёрлес целиком отдался их влиянию, ибо духовные его дела обстояли теперь примерно так. В его возрасте в гимназии успевают прочесть Гете, Шиллера, Шекспира, даже, может быть, и современных авторов. Это затем, не переварившись, лезет из-под пера. Возникают трагедии из римской жизни или чувствительная лирика, рядящаяся в долгие, на целую страницу периоды, как в ажурные кружева тончайшей работы, — вещи сами по себе смешные, но для верности развития неоценимые. Ибо эти пришедшие извне ассоциации и заимствованные чувства проносят молодых людей над опасно зыбкой психологической почвой тех лет, когда ты должен сам что-то значить и все же слишком еще незрел, чтобы действительно что-то значить. Останется ли что-то от этого на будущее или ничего не останется, безразлично; каждый уж как-то сладит с собой, а опасность заключена лишь в переходном возрасте. Если такому молодому человеку показать, как он смешон, почва уйдет у него из-под ног или он упадет, как проснувшийся лунатик, который вдруг увидел одну только пустоту.

Этой иллюзии, этой уловки на благо развития в училище не было. Классики в библиотеке, правда, имелись, но они считались скучными, а еще были там только томики сентиментальных новелл и плоские военные юморески.

Маленький Тёрлес все это с жадностью, которую вызывали у него книги, прочел, какие-то банально нежные образы из той или другой новеллы некоторое время порой еще оживали, однако влияния, настоящего влияния это на его характер не имело.

Тогда казалось, что у него вообще нет характера.

Под влиянием этого чтения он сам, например, писал время от времени маленькие рассказы или начинал сочинять романтические эпопеи. От волнения по поводу любовных страстей его героев щеки его тогда краснели, сердце билось чаще, глаза блестели.

Но как только он откладывал перо, все проходило; в известной мере дух его жил только в движении. При этом он был способен написать стихотворение или рассказ когда угодно, по заказу. Он испытывал при этом волнение, но все же никогда не принимал этого вполне всерьез, деятельность эта не казалась ему важной. От нее ничего не переходило на его личность, а она не исходила от его личности. Лишь под каким-то внешним нажимом возникали у него чувства, выходившие за пределы безразличного, подобно тому как актеру нужен для этого нажим роли.

Это были реакции головные. А то, что ощущается как характер или душа, как линия или тональность человека, то, по сравнению с чем мысли, решения и поступки кажутся малопримечательными, случайными и заменимыми, то, что, например, привязывало Тёрлеса к принцу по ту сторону всяких разумных оценок, этот последний, неподвижный фон в Тёрлесе в то время совсем пропал.

Его товарищей от потребности в таком фоне начисто избавляла радость от спорта, животность, — в гимназиях об этом заботится игра с литературой.

Тёрлес же был для первого от природы слишком духовен, а ко второму он относился с той повышенной чуткостью к смехотворности таких заимствованных сантиментов, которую, вынуждая воспитанника быть постоянно готовым к ссорам и дракам, рождает жизнь в

интернате.

Так его нрав приобрел что-то неопределенное, какую-то внутреннюю беспомощность, которая мешала ему найти себя.

Он присоединился к своим новым друзьям, потому что ему импонировало их буйство. Будучи честолюбив, он пытался порой даже превзойти их в этом. Но каждый раз останавливался на полпути, из-за чего терпел немало насмешек. Это снова вселяло в него робость. Вся его жизнь состояла в этот критический период, собственно, лишь во все возобновляющемся старании не отстать от своих грубых, более мужественных друзей и в глубоком внутреннем безразличии к таким усилиям.

Когда его теперь навещали родители, он бывал, пока находился наедине с ними, тих и застенчив. От нежных прикосновений матери он уклонялся каждый раз под новым предлогом. В действительности он рад был бы поддаться им, но ему было стыдно, как если бы на него были направлены взгляды товарищей.

Его родители принимали это за неуклюжесть переходного возраста.

А во второй половине дня появлялась вся шумная компания. Играли в карты, ели, пили, рассказывали анекдоты об учителях и курили папиросы, которые привозил из столицы надворный советник.

Это веселье радовало и успокаивало супругов.

Что для Тёрлеса иной раз наступали и другие часы, они не знали. А в последнее время таких часов выпадало все больше. Случались мгновения, когда жизнь в училище становилась совершенно безразлична ему. Тогда скрепляющая замазка насущных забот отскакивала, и часы его жизни распадались без связи между собой.

Он часто сидел — в мрачном раздумье — словно склонясь над самим собой.

Двухдневным было родительское посещение и на этот раз. Ели, курили, выезжали на прогулку, и теперь скорый поезд должен был вернуть супругов в столицу.

Тихий гул в рельсах возвещал его приближение, и сигналы колокола у крыши станционного здания неумолимо ударяли в уши надворной советницы.

— Итак, дорогой Байнеберг, вы приглядите за моим сынком, правда? — обратился надворный советник к молодому барону Байнебергу, долговязому, костлявому юноше с сильно оттопыренными ушами, но выразительными, умными глазами.

Маленький Тёрлес скорчил недовольную гримасу по поводу этой опеки, а Байнеберг ухмыльнулся полицейски и немного злорадно.

— Вообще, — обратился надворный советник к остальным, — я хотел бы попросить всех вас, если что-нибудь случится с моим сыном, сразу же известить меня.

Это вызвало все-таки у юного Тёрлеса бесконечно тоскливое «Ну, что может со мной случиться, папа?!» — хотя он уже привык к тому, что при каждом прощании ему досаждают такой чрезмерной заботливостью.

Другие тем временем щелкали каблуками, подтягивая при этом изящные шпаги, и надворный советник прибавил:

— Никогда не знаешь, что случится, а мысль, что мне сразу обо всем сообщат, очень успокоительна для меня; ведь может и так выйти, что у тебя не будет возможности написать.

Затем подошел поезд. Надворный советник Тёрлес обнял сына, госпожа фон Тёрлес плотнее прижала вуаль к лицу, чтобы скрыть слезы, друзья поочередно откланялись, затем кондуктор закрыл дверь вагона.

Супруги еще раз увидели высокий, голый задний фасад училища, мощную, длинную стену, ограждавшую парк, затем справа и слева пошли только серо-бурые поля и одиночные плодовые деревья.

Молодые люди покинули тем временем вокзал и шли двумя рядами гуськом по обоим краям улицы — хотя бы так спасаясь от густой и вязкой пыли — в сторону города почти без разговоров.

Было начало шестого, и поля окутало суровостью и холодом — в предвещии вечера.

Тёрлес очень погрузнел.

Может быть, виною тому был отъезд родителей, а может быть, лишь неприятная, равнодушная меланхолия, лежавшая сейчас тяжестью на всем вокруг и уже на расстоянии нескольких шагов размывавшая формы предметов тяжелыми тусклыми красками.

То же страшное безразличие, что уже всю вторую половину дня лежало на всем, подползало теперь по равнине, а за ним, клейким шлейфом, полз туман, прилипая к вспаханым после пара полосам и свинцово-серым свекловичным полям.

Тёрлес не смотрел ни вправо, ни влево, но это чувствовал. Шаг за шагом ступал он в следы, только что вдавленные в пыль ногой впереди идущего, и потому чувствовал это как что-то неизбежное, как каменную силу, которая сводила и сжимала всю его жизнь в это движение — шаг за шагом — по одной этой линии, по одной этой узкой полоске, тянущейся в пыли.

Когда они остановились у перекрестка, где вторая дорога сливалась с той, по которой они шли, в круглый вытоптанный пустырь и где косо вонзился в воздух трухлявый путевой указатель, эта противоречащая их окружению линия показалась Тёрлесу криком отчаяния.

Они пошли дальше. Тёрлес думал о своих родителях, о знакомых, о жизни. В этот час одеваются для гостей или решают поехать в театр. А потом идут в ресторан, слушают оркестр, заходят в кофейню. Завязывают интересное знакомство. До утра длится ожидание какого-нибудь галантного приключения. Жизнь, как чудесное колесо, выкатывает из себя то и дело новое, неожиданное...

Тёрлес вздыхал от этих мыслей, и с каждым шагом, приближавшим его к тесноте училища, в нем что-то стягивалось все туже и туже.

Уже сейчас стоял у него в ушах звук звонка. Ничего он так не боялся, как этого звонка, который непреложно определял конец дня, — как жестокий удар ножом.

Он ничего-то и не изведаль, и жизнь его была сплошным прозябанием, но этот звонок прибавлял ко всему еще и глумление, повергая его в дрожь от бессильной злости на самого себя, на свою судьбу, на загубленный день.

Больше ты ничего уже не изведаль, в течение двенадцати часов ты ничего уже не изведаль, на срок в двенадцать часов ты мертв — таков был смысл этого звонка.

Когда компания молодых людей подошла к первым низким домам, похожим на лачуги, Тёрлеса отпустили эти унылые мысли. Словно захваченный каким-то внезапным интересом, он поднял голову и стал напряженно вглядываться в мутные недра маленьких, грязных строений, мимо которых они проходили.

У дверей большинства из них стояли женщины — в халатах и грубых рубашках, с широкими грязными ногами и голыми смуглыми руками.

Если они были молодые и крепкие, им в шутку бросали грубоватые славянские словечки. Они подталкивали друг друга локтями и подсмеивались над «молодыми господами», иная и вскрикивала, когда слишком уж сильно задевали, проходя мимо, ее груди, или сквозь смех отвечала ругательством на шлепок по бедру. А иная лишь с гневной суровостью смотрела вслед уходившим; а крестьянин, если он случайно тут оказывался, улыбался смущенно — наполовину неуверенно, наполовину добродушно.

Тёрлес был в стороне от этой озорной, не по возрасту развитой мужественности своих друзей.

Объяснялось это отчасти, наверно, известной робостью в делах пола, свойственной почти всем единственным детям, но в большей мере особым характером его чувственности, которая была скрытнее, мощнее и мрачнее, чем чувственность его друзей, и выражала себя труднее.

В то время как другие бесстыдничали с женщинами скорее, пожалуй, «для шика», чем от вожделения, душа молчаливого маленького Тёрлеса была взбуждена и знала бич действительного бесстыдства.

Он с такими горящими глазами заглядывал через оконца и угловатые, узкие подворотни в недра этих домов, что у него постоянно рябило в глазах.

Полуголые дети копошились в грязи дворов, там и сям юбка работающей женщины

открывала подколенные ямки, тугие складки холста сжимали тяжелую грудь. И словно все это совершалось даже в совсем другой, животной, давящей атмосфере, из сеней домов тек спертый, тяжелый воздух, который Тёрлес жадно вдыхал.

Он думал о старинных картинах, которые видел в музеях, но по-настоящему не понимал. Он ждал чего-то, как и от этих картин всегда ждал чего-то, что никогда не случалось. Чего?... Чего-то неожиданного, невиданного до сих пор; невероятного зрелища, которое совершенно не мог представить себе; чего-то, что словно когтями схватит его и растерзает на части; события, которое каким-то совсем еще неясным образом должно быть связано с грязными халатами женщин, с их грубыми руками, с их низкими каморками, с... с замаранностью в грязи их дворов... Нет, нет... Он чувствовал теперь только огненную рябь в глазах; словами этого не сказать; это совсем не так скверно, каким оно делается из слов; это что-то совершенно немое — сдавленность в горле, мимолетная мысль, и только если непременно нужно сказать это словами, только тогда оно получается таким, но тогда оно и похоже лишь отдаленно, как при огромном увеличении, когда не только видишь все яснее, но и видишь вещи, которых тут вовсе нет... И все-таки было стыдно...

— Деточка тоскует по дому? — насмешливо спросил его вдруг долговязый и на два года старше его фон Райтинг, обративший внимание на молчаливость и помрачневшие глаза Тёрлеса. Тёрлес усмехнулся вымученно и смущенно, и ему показалось, будто ехидный Райтинг подслушивал, что творилось у него внутри.

Он не ответил. Но тем временем они дошли до церковной площади городка, которая имела форму квадрата и была вымощена булыжником, и теперь расходились в разные стороны.

Тёрлесу и Байнебергу еще не хотелось возвращаться в училище, а другие, не имея разрешения на долгую отлучку, пошли домой.

Эти двое зашли в кондитерскую.

Там они сидели за маленьким круглым столиком, у окна, выходившего в сад, под газовой люстрой, огни которой тихо жужжали за молочными стеклянными шарами.

Они удобно устроились, заказывали разные сорта водок, курили папиросы, ели в промежутках печенье и наслаждались уютом единственных гостей. Ибо разве что в задних комнатах сидел еще какой-нибудь одинокий посетитель за стаканом вина; спереди было тихо, и даже тучная, в летах кондитерша, казалось, уснула за своей стойкой.

Тёрлес смотрел — совсем рассеянно — в окно — на пустой сад, который постепенно темнел.

Байнеберг рассказывал. Об Индии. Как обычно. Ибо его отец, генерал, служил там у англичан в бытность молодым офицером. И он не только, как прочие европейцы, привез оттуда резные изделия, ткани и фабричной работы божков, но еще ощутил и сберег какой-то таинственный, сумеречный, призрачный свет эзотерического буддизма. То, что он там узнал и что вычитал позднее вдобавок, он передавал сыну с самого его детства.

С чтением, впрочем, дело обстояло у него весьма своеобразно. Он был кавалерийский офицер и книг вообще отнюдь не любил. Романы и философию он презирал в одинаковой мере. Когда он читал, он не хотел задумываться над мнениями и спорными вопросами, а хотел, открывая книгу, войти, словно через потайную дверь, в хранилище отборного знания. Ему требовались книги, одно обладание которыми было уже как бы тайным орденом знаком, как бы гарантией неземных откровений. А это он находил лишь в книгах индийской философии, которые и казались ему не просто книгами, а откровениями, истиной — кодами, как алхимические и манические книги средневековья.

С ними этот здоровый, деятельный человек, строго исполнявший свои служебные обязанности и, сверх того, почти ежедневно сам объезжавший трех своих лошадей, запирался обычно под вечер.

Тогда он выхватывал наудачу какое-нибудь место и размышлял, не откроется ли ему сегодня самый тайный смысл. И он никогда не разочаровывался, даже и признавал, что не продвинулся дальше преддверия освященного храма.

И потому этого мускулистого, загорелого, привыкшего быть на воздухе человека оведало подобие какой-то торжественной тайны. Его убежденность, что каждый день для него — канун сногшибательного великого разоблачения, давала ему скрытое превосходство. Глаза у него были не мечтательные, а спокойные и твердые. Выражение их создали привычка читать книги, где нельзя переставить ни одного слова, не нарушив тайного смысла, осторожное, внимательное взвешивание каждого слова в поисках его смысла и двоякого смысла.

Лишь изредка терялись его мысли в сумраке приятной меланхолии. Это случалось, когда он думал о тайном культе, связанном с оригиналами лежащих перед ним писаний, о чудесах, от них исходивших и захватывавших тысячи, многие тысячи людей, которые из-за большого расстояния, отделявшего его от них, представляли ему сейчас как бы братьями, хотя людей вокруг себя, которые были видны ему во всех подробностях, он презирал. В такие часы на него находила угрюмость. Мысль, что жизнь его обречена пройти вдали от источников священных сил, что его усилия, вероятно, все же обречены на провал из-за неблагоприятных обстоятельств, — мысль эта угнетала его. Но, посидев потом в огорчении перед своими книгами, он приходил в странное состояние. Его меланхолия, правда, ничуть не теряла своей тяжести, напротив, его печаль усиливалась, но она уже не угнетала его. Он больше чем когда-либо чувствовал себя покинутым и пропавшим, но в этой грусти таилась тонкая сладость, гордость, что делаешь что-то нездешнее, служишь непонятному божеству. И тогда в его глазах вспыхивало на миг что-то, что напоминало безумство религиозного экстаза.

Байнеберг устал говорить. В нем самом образ его чудаковатого отца продолжал жить в каком-то искажающем увеличении. Каждая черта, правда, сохранилась; но то, что у отца изначально было всего лишь причудой, которую из-за ее исключительности усиливали и консервировали, переросло у сына в какую-то фантастическую надежду. Та странность отца, что служила ему, в сущности, может быть, только каким-то последним убежищем, которое — будь это лишь манера одеваться — должен создать себе каждый человек, чтобы иметь что-то, отличающее его от других, превратилась у сына в твердую веру в свою способность обеспечить себе господство благодаря необыкновенным психическим силам.

Тёрлес знал эти разговоры достаточно хорошо. Они проходили мимо него и почти не задевали его.

Сейчас он наполовину отвернулся от окна и наблюдал за Байнебергом, который свертывал себе папиросу. И он снова почувствовал то удивительное отвращение к Байнебергу, что иногда поднималось в нем. Эти узкие смуглые руки, ловко заворачивавшие табак в бумагу, были ведь, в сущности, красивы. Тонкие пальцы, овальные, изящно выпуклые ногти — в них было какое-то благородство. Да и в темно-карих глазах. Да и в поджарости всего тела было оно. Правда, уши сильно оттопыривались, лицо было маленькое и неправильное, и общее впечатление от головы напоминало голову летучей мыши, однако сравнивая друг с другом отдельные черты, Тёрлес отчетливо это чувствовал не некрасивые, а, наоборот, располагающие вызывали у него такое странное беспокойство.

Поджарость тела — сам Байнеберг восхвалял стальные, стройные ноги гомеровских бегунов, считал их образцом для себя — совсем не казалась ему гомеровской. До сих пор Тёрлес не отдавал себе в этом отчета, и сейчас ему не приходило на ум никакого подходящего сравнения. Ему хотелось пристальнее всмотреться в Байнеберга, но тогда тот это заметил бы, и пришлось бы завести какой-то разговор. Но именно так — когда он лишь наполовину смотрел на него, а наполовину дополнял картину воображением — ему открылась разница. Мысленно сняв с тела одежду, он уже никак не мог сохранить впечатление спокойной стройности, ему сразу же виднелись беспокойные, вертлявые движения, вихляющиеся члены, искривленный позвоночник, — как то встречается во всех изображениях мученичества или в гротескных действиях ярмарочных артистов.

Также и руки, которые он, конечно, с таким же правом мог бы мысленно задержать в каком-нибудь законченном жесте, он представлял себе не иначе, как беспокойство пальцев.

И как раз на них, самом красивом, собственно, в Байнеберге, сосредоточивалось величайшее отвращение. В них было что-то развратное. Вот, пожалуй, верное сравнение. Впечатление чего-то развратного производили и вертлявые движения туловища. В руках только эта развратность как бы скапливалась, они, казалось, излучали ее предвестием прикосновения, от мерзости которого у Тёрлеса мурашки пробегали по коже. Он сам удивился своей фантазии и немного испугался ее. Ибо уже второй раз за этот день в его мысли неожиданно и без всякой видимой связи вторглось что-то, имевшее отношение к полу.

Байнеберг взял газету, и Тёрлес мог теперь хорошенько его рассмотреть.

Действительно, нельзя было найти ничего, что хоть сколько-нибудь оправдывало бы внезапное появление такой ассоциации.

И все-таки, несмотря на всю свою необоснованность, это неприятное чувство делалось все острее. Не прошло и десяти минут воцарившегося между ними молчания, как Тёрлес почувствовал, что его отвращение уже дошло до предела. В этом, казалось, впервые выразилось некое главное настроение, главное отношение между ним и Байнебергом, всегда таившееся недоверие вдруг, казалось, дошло до сознания.

Ситуация, создававшаяся между ними, обострялась все более. Обиды, для которых он не находил слов, вскипели в Тёрлесе. Какой-то стыд, словно между ним и Байнебергом действительно что-то произошло, встревожил его. Его пальцы беспокойно забарабанили по столу.

Наконец, чтобы выйти из этого странного состояния, он снова посмотрел в окно.

Теперь Байнеберг поднял глаза от газеты; затем прочел вслух какое-то место, отложил листок в сторону и зевнул.

Вместе с молчанием ушла и тяжесть, угнетавшая Тёрлеса. Какие-то пустяковые слова совсем затопили это мгновение и погасили его. Он вдруг встрепенулся, после чего вернулось прежнее безразличие...

— Сколько у нас еще времени? — спросил Тёрлес.

— Два с половиной часа.

Затем он зябко поднял плечи. Он снова почувствовал сковывающую силу тесноты, его ожидавшей. Уроки, каждодневное общение с товарищами. Даже этого отвращения к Байнебергу, которое на миг, казалось, создало новую ситуацию, больше не будет.

— Что сегодня на ужин?

— Не знаю.

— Какие у нас завтра предметы?

— Математика.

— Вот как? Что-нибудь задано?

— Да, несколько новых теорем из тригонометрии. Но ты их поймешь, в них нет ничего особенного.

— А потом?

— Закон божий.

— Закон божий? Ах да. Тут опять что-нибудь да будет... Мне кажется, что, когда я в ударе, я могу с таким же успехом доказать, что дважды два пять, как то, что Бог может быть только один...

Байнеберг насмешливо взглянул на Тёрлеса.

— Ты в этом вообще смешон. Мне даже кажется, что тебе самому это доставляет удовольствие. Во всяком случае, глаза у тебя так и блестят...

— А почему бы нет? Разве это не славно? Тут всегда есть точка, когда уже не знаешь, врешь ли ты или то, что ты придумал, реальнее, чем ты сам.

— Как так?

— Ну, я же не в буквальном смысле. Ведь, конечно, всегда знаешь, что жульничаешь. Но все-таки иногда дело кажется самому таким достоверным, что как бы останавливаешься, оказавшись в плену собственной мысли.

— Да, но в чем же тут для тебя удовольствие?

— Именно в этом самом. Какой-то вдруг толчок в уме, головокружение, испуг...

— Ах, перестань, это вздор.

— Я и не утверждал противоположного. Но во всяком случае, это для меня во всем ученье самое интересное.

— Это просто какая-то гимнастика для мозга. Но никакого смысла в этом нет.

— Нет, — сказал Тёрлес и снова посмотрел в сад. За спиной у себя вдалеке — он слышал жужжанье газовых ламп. Он следил за каким-то чувством, поднимавшимся в нем меланхолически, как туман.

— Смысла нет никакого. Ты прав. Но говорить себе это совершенно незачем. А в чем из того, что мы целый день делаем в школе, есть какой-то смысл? От чего есть какой-то толк? Толк, я хочу сказать, для себя, понимаешь? Вечером знаешь, что прожил еще один день, что выучил столько-то и сколько-то, ты выполнил расписание, но при этом остался пустым — внутренне, я хочу сказать, ты испытываешь, так сказать, внутренний голод...

Байнеберг пробормотал что-то насчет «упражняться», «готовить ум», «еще ни за что нельзя братья», «позднее».

— Готовиться? Упражняться? Для чего же? Ты знаешь что-то определенное? Ты, может быть, на что-то надеешься, но и тебе это совершенно неясно. Вот что выходит: вечное ожидание чего-то, о чем ничего другого не знаешь, кроме того, что ждешь этого... Это так скучно...

— Скучно... — протяжно повторил Байнеберг и покачал головой.

Тёрлес все еще смотрел в сад. Ему казалось, что он слышит шуршанье сухих листьев, которые собирал ветер. Затем настал тот миг полнейшей тишины, который всегда наступает незадолго до того, как совсем стемнеет; очертания предметов, все сильнее растворявшиеся в сумерках, и краски, которые расплывались, — казалось, застыли на несколько секунд, переводя дух.

— Послушай, Байнеберг, — сказал Тёрлес, не оборачиваясь, — когда смеркается, всегда, видно, бывает несколько мгновений совершенно особого рода. Сколько раз это ни наблюдаю, мне вспоминается одно и то же. Я был еще очень мал, когда однажды играл в этот час в лесу. Служанка отошла. Я этого не знал, и у меня было ощущение, что она еще где-то близко. Вдруг что-то заставило меня поднять глаза. Я почувствовал, что я один. Все вдруг совсем затихло. И когда я оглянулся, мне показалось, будто деревья молча стоят вокруг и наблюдают за мной. Я заплакал. Я почувствовал себя покинутым взрослыми, отданным на произвол неживых созданий. Что это такое? Я часто чувствую это снова. Это внезапное безмолвие, словно речь, которой мы не слышим?

— Я не знаю, что ты имеешь в виду. Но почему бы у вещей не быть языку? Ведь не можем же мы со всей определенностью утверждать, что у них не бывает души!

Тёрлес не ответил. Рассуждения Байнеберга были ему неприятны.

Но вскоре тот начал:

— Почему ты все время глядишь в окно? Что ты в этом находишь?

— Я все еще думаю, что это может быть.

На самом деле он думал уже о чем-то другом, в чем не хотел признаться. Высокое напряжение, сосредоточенность, с которой прислушиваешься к серьезной тайне, и ответственность, которую берешь на себя, заглядывая в еще не описанные связи жизни, он смог выдержать только один миг. Затем им опять овладело то чувство одиночества и покинутости, что всегда следовало за этим слишком высоким запросом. Он чувствовал: здесь таится что-то, пока еще слишком трудное для него, и мысли его убегали к чему-то другому, тоже таившемуся здесь, но как бы только на заднем плане и в засаде, — к одиночеству.

Из заброшенного сада к освещенному окну нет-нет да прилетал листок и, уносясь, врывался в темень светлой полоской. Темнота, казалось, сторонилась, отступала, чтобы в следующее мгновение продвинуться вперед снова и неподвижно, стеной стать перед окнами. То был особый мир, эта темень. Стаей черных врагов напала она на землю и убила людей, или прогнала их, или еще что-то сделала, чтобы от них и следа не осталось.

И Тёрлесу показалось, что он этому рад. В эту минуту он не любил людей, больших и взрослых. Он никогда не любил их, когда было темно. Он привык воображать тогда, что их нет. Мир представлялся ему после этого пустым, темным домом, и в груди у него все трепетало, словно ему пришлось теперь пробираться из комнаты в комнату — через темные комнаты, о которых никто не знал, что таят их углы, — на ощупь перешагивать пороги, куда уже не ступит ничья нога, кроме его собственной, — пока в одной из комнат вдруг перед ним и за ним не закроются двери и он не предстанет перед самой владычицей черных стай. И в этот миг защелкнутся замки всех других дверей, через которые он прошел, и лишь далеко перед стенами тени темноты будут, как черные евнухи, стоять на страже и даже близко не подпустят людей.

Такого вида была его одинокость, с тех пор как его тогда бросили — в лесу, где он плакал. Она обладала для него прелестью женщины и нечеловеческого. Он чувствовал ее как женщину, но ее дыхание было лишь стеснением в собственной груди, ее лицо — головокружительным забвением всех человеческих лиц, движения ее рук были мурашками, бежавшими у него по телу...

Он боялся этой фантазии, сознавая ее необузданную тайность, и его беспокоила мысль, что такие картины будут приобретать все большую власть над ним. Но как раз тогда, когда он казался себе особенно серьезным и чистым, они-то и возникали. Как реакция, можно сказать, на эти мгновения, когда он предугадывал чувственное знание, которое уже в нем готовилось, но еще не соответствовало его опыту. Ибо в развитии всякой тонкой нравственной силы есть такая ранняя точка, когда она ослабляет душу, чьим самым смелым опытом она, возможно, когда-нибудь будет — как если бы корни ее должны были сперва опасть, чего-то ища, и разворошить грунт, который им потом суждено укрепить, — отчего у юноши с большим будущим бывает обычно богатое унижениями прошлое.

Пристрастие Тёрлеса к определенным настроениям было первой приметой того душевного развития, которое позднее проявилось в таланте удивляться. Дело в том, что в дальнейшем им прямо-таки овладела одна странная способность. Она заставляла его воспринимать события, людей, предметы, а порой и самого себя так, что у него при этом возникало чувство, с одной стороны, неразрешимой непонятности, с другой — необъяснимого, ничем не оправданного родства. Они казались ему до осязаемости понятными и все же никогда без остатка не растворяющимися в словах и мыслях. Между событиями и его «я», даже между его собственными чувствами и каким-то сокровеннейшим «я», которое жаждало быть ими понятым, всегда оставалась разделительная черта, по мере его приближения к ней отступавшая от его желания, как горизонт. Да, чем точнее охватывал он мыслями свои ощущения, чем более знакомыми становились они ему, тем более чужими и непонятными делались они для него одновременно, так что даже думалось уже, что не они отступают от него, а он сам удаляется от них и все же не может отделаться от ощущения, что приближается к ним.

Это странное, труднообъяснимое противоречие заполняло потом долгий отрезок его духовного развития, оно, казалось, разрывало ему душу и угрожало ей как главная ее проблема.

Пока же тяжесть этих борений сказывалась только в частой внезапной усталости и словно бы уже издали пугала Тёрлеса, как только какое-нибудь сомнительное, странное настроение — как сейчас — напоминало о них. Он представился себе тогда таким же бессильным, как узник, на котором поставили крест, одинаково отрезанным от себя и от мира; ему впору было кричать от пустоты и отчаяния, а он вместо того словно бы отворачивался от этого серьезного и полного ожидания, измученного и усталого человека в себе и прислушивался — еще испуганный этим внезапным самоотречением и уже восхищенный их теплым, грешным дыханием — к шепчущим голосам, которые находило для него одиночество.

Тёрлес вдруг предложил расплатиться. В глазах Байнеберга блеснуло понимание; он знал это настроение. Тёрлесу это согласие было противно; его отвращение к Байнебергу

ожило снова, и он почувствовал себя опозоренным общностью с ним.

Но другого и нечего было тут ждать. Позор — это добавочное одиночество и новая мрачная стена.

И они молча зашагали по уже определенному пути.

В последние минуты прошел, по-видимому, небольшой дождь — воздух был влажный и теплый, вокруг фонарей дрожал пестрый туман, а тротуары поблескивали.

Тёрлес плотно прижал к телу ударявшуюся о плиты мостовой шпагу, но даже стук каблучков оглушал его почему-то.

Вскоре под ногами у них была мягкая земля, они удалились от центра города и по широким деревенским улицам шагали к реке.

Черная и ленивая, она с грудным бульканьем ворочалась под деревянным мостом. Один-единственный фонарь стоял тут с пыльными и разбитыми стеклами. Свет беспокойно гнувшегося от ветра пламени падал иногда на бегущую волну и растекался по ее тылу. Бревна настила отзывались на каждый шаг... откатывались вперед и возвращались на место...

Байнеберг остановился. Противоположный берег густо порос деревьями, которые, поскольку дорога сворачивала под прямым углом и шла дальше вдоль воды, стояли грозной, черной, непроницаемой стеной. Лишь после осторожных поворотов нашла узкая, скрытая тропка, которая вела прямо вглубь. Густой, сильно разросшийся подлесок, за который задевала одежда, каждый раз обдавал брызгами. Вскоре им пришлось снова остановиться и зажечь спичку. Стояла полная тишина, даже плеска реки не было уже слышно. Вдруг до них донесся издали неясный, прерывистый звук. Он походил на крик или на предостережение. Или просто на возглас непонятного существа, которое вот-вот вырвется к ним из кустов. Они двинулись на звук, остановились, двинулись снова. Всего прошло, вероятно, четверть часа, когда они, облегченно вздохнув, различили громкие голоса и звуки гармонии.

Деревья стояли теперь реже, и после нескольких шагов они оказались на краю прогалины, посреди которой грузно высилось квадратное трехэтажное здание.

Это было старинное купальное заведение. Когда-то оно служило жителям городка и окрестным крестьянам для лечебных целей, но уже много лет стояло почти пустым. Только на первом его этаже приютился трактир.

Оба остановились и прислушались.

Тёрлес выставил было вперед ногу, чтобы выйти из кустов, как вдруг в сенях дома загрохотали по полу тяжелые сапоги и какой-то пьяный вышел нетвердым шагом на воздух. За ним, в тени сеней, стояла женщина, и слышно было, как она что-то шепчет торопливым, злым голосом, словно чего-то от него требуя... Мужчина рассмеялся в ответ, пошатываясь. Затем донеслось что-то похожее на просьбы. Но и это нельзя было разобрать. Слышалось только вкрадчивое, уговаривающее звучанье голоса. Женщина вышла теперь ближе и положила руку мужчине на плечо. Луна осветила ее — ее юбку, ее кофту, ее просящую улыбку.

Мужчина смотрел прямо вперед, качал головой и не вынимал руки из карманов. Затем он сплюнул и оттолкнул женщину. Теперь удавалось разобрать и их голоса, которые стали громче:

— ...Так ты ничего не даешь? Ах, ты...

— Ступай наверх, мразь!

— Что? Вот жмот сиволапый!

В ответ пьяный, тяжело двигаясь, поднял камень.

— Если сейчас не отстанешь, дура ты непотребная, хрясну тебя по горбу!

И он замахнулся. Тёрлес услышал, как женщина, выругавшись напоследок, убежала по лестнице.

Мужчина постоял, в нерешительности держа камень в руках. Он засмеялся, посмотрел на небо, где между черными тучами плыла желтая, как вино, луна; затем уставился в темную изгородь кустов, словно раздумывая, не махнуть ли туда. Тёрлес осторожно убрал

выставленную вперед ногу, он чувствовал сердцебиение у самого горла. Наконец пьяный, видимо, опомнился. Его рука выронила камень. С резким, торжествующим смехом он крикнул в окно какую-то грубую непристойность, затем скрылся за углом.

Оба стояли все еще неподвижно.

— Ты узнал ее? — шепнул Байнеберг. — Это была Божена.

Тёрлес не ответил; он прислушивался, не возвращается ли пьяный. Затем Байнеберг подтолкнул его вперед. Быстрыми, осторожными шагами прошли они мимо пятна света, клином падавшего из окна первого этажа, — в темные сени. Тесными поворотами поднималась на второй этаж деревянная лестница. Тут слышали, вероятно, их шаги по скрипящим ступенькам, или о дерево ударилась шпaga: дверь шинка открылась, и кто-то вышел посмотреть, кто пришел, а гармонь вдруг умолкла и шум голосов на миг выжидающе стих.

Тёрлес испуганно пробирался поворотами лестницы. Но несмотря на темноту, его, кажется, заметили, ибо он слышал, как насмешливый голос официантки, когда дверь опять закрывалась, что-то сказал, после чего последовал хохот.

На лестничной площадке второго этажа было совершенно темно. Ни Тёрлес, ни Байнеберг не решались сделать ни шага вперед, не уверенные, что они не опрокинут чего-нибудь и не поднимут шум. Подгоняемые волнением, они торопливыми пальцами искали дверную ручку.

Божена крестьянской девушкой приехала в большой город, где пошла в прислуги и стала горничной.

Жилось ей сначала очень хорошо. Крестьянский облик, который она, как и широкую, твердую походку, не совсем утратила, обеспечивал ей доверие хозяек, любивших в этом запахе коровника, от нее как бы исходившем, ее простоту, и любовь хозяев, ценивших этот аромат. Только, наверно, из каприза, да еще, может быть, из-за недовольства и глухой тоски по страсти бросила она свою удобную жизнь. Она стала официанткой, заболела, нашла пристанище в каком-то элегантном борделе и постепенно, по мере того как распутная жизнь истощала ее, снова покатила в провинцию — все дальше и дальше.

Здесь наконец, где она уже много лет жила неподалеку от своей родной деревни, она днем помогала в трактире, а вечерами читала дешевые романы, курила папиросы и от случая к случаю принимала мужчин.

Она еще не стала совсем безобразна, но лицо ее было на диво лишено всякой привлекательности, и она прямо-таки старалась еще сильнее подчеркнуть это своей повадкой. Она всячески показывала, что ей хорошо знакомы блеск и суэта высшего света, но что для нее это пройденный этап. Она любила говорить, что ей на это, как и на себя, как и на все вообще, наплевать. Несмотря на свою запущенность, она пользовалась поэтому известным уважением у окрестных крестьянских сыновей. Они хоть и отплевывались, когда о ней говорили, хоть и считали себя обязанными быть с ней еще грубее, чем с другими девушками, но, в сущности, еще как гордились этой «окаянной девкой», которая вышла из их среды и так сумела узнать изнанку мира. Хоть и поодиночке и украдкой, а снова и снова приходили они побеседовать с ней. В этом Божена находила какой-то остаток гордости, оправдание своей жизни. Но еще, может быть, большее удовлетворение доставляли ей молодые господа из училища. Перед ними она нарочно выставляла самые грубые и некрасивые свои свойства, потому что те все равно, как она выражалась, приползут к ней.

Когда приятели вошли, она, как обычно, лежала на кровати, курила и читала.

Еще стоя в дверях, Тёрлес жадными глазами вобрал в себя это зрелище.

— Бог ты мой, что за милые мальчики пожаловали! — встретила она насмешливым возгласом вошедших, немного презрительно их оглядывая. — Никак ты, барон? А что скажет мама по этому поводу?

Такое начало было в ее духе.

— Ну, хватит... — пробормотал Байнеберг и сел к ней на кровать. Тёрлес сел в стороне; ему было досадно, что Божена не обращала на него внимания и делала вид, будто не

знает его.

Приходы к этой женщине стали в последнее время его единственной и тайной радостью. К концу недели он уже волновался и не мог дожидаться воскресенья, когда он вечером будет красться к ней. Занимала его главным образом эта необходимость красться. Если бы, например, тому пьяному малому у трактира вздумалось погнаться за ним? Просто ради удовольствия всыпать блудливому барчуку? Он не был труслив, но он знал, что тут он беззащитен. Против этих кулачищ изящная шпага показалась ему насмешкой. А кроме того, стыд и наказание, которых ему бы не миновать! Ему ничего не осталось бы, как удрать или просить пощады. Или искать защиты у Божены. Эта мысль проняла его насквозь. Вот оно самое! Только это! Ничего другого! Это страх, эта капитуляция манили его каждый раз заново. Этот уход от своего привилегированного положения, когда окажешься среди простых людей... ниже их!

Он не был порочен. При осуществлении всегда перевешивали отвращение к своей затее и страх перед возможными последствиями. Только фантазия приняла у него нездоровое направление. Когда дни недели один за другим ложились на его жизнь свинцовой тяжестью, его начинали манить эти едкие раздражители. Из воспоминаний о его приходах к Божене возникал своеобразный соблазн. Она представлялась ему существом чудовищной низости, а его отношение к ней, чувства, через которые он должен был тут пройти, жестоким культом самопожертвования. Его манило оставить все, что обычно замыкало его: свое привилегированное положение, мысли и чувства, которые ему прививали, все то, что ничего ему не давало и подавляло его. Его манило самозабвенно убежать к этой женщине, голым, ничем не прикрытым.

Это не было иначе, чем у молодых людей вообще. Будь Божена чиста и красива и будь он тогда способен любить, он, может быть, кусал бы ее, усиливал бы до боли и свое сладострастие. Ибо первая страсть взрослеющего человека — это не любовь к одной, а ненависть ко всем. Чувство, что ты не понят, и непонимание мира вовсе не сопровождают первую страсть, а суть ее единственная неслучайная причина. А сама она — бегство, при котором быть вдвоем значит быть в удвоенном одиночестве.

Почти каждая первая страсть длится недолго и оставляет горький осадок. Она есть заблуждение, разочарование. Потом не понимаешь себя и не знаешь, кого винить. Происходит это оттого, что люди в этой драме друг для друга большей частью случайны — случайные попутчики по бегству. Успокоившись, они друг друга уже не узнают. Они замечают друг в друге противоположности, потому что уже не замечают общего.

У Тёрлеса это было иначе только потому, что он был один. Стареющая униженная проститутка была не в силах раскрепостить его до конца. Однако она была женщиной до такой степени, что как бы преждевременно вырвала на поверхность какие-то части его души, которые, как зреющие зачатки, еще ждали оплодотворяющего мгновения.

Отсюда-то и шли его странные мечтания и фантастические соблазны. Но почти так же сильно хотелось ему порой броситься на землю и закричать от отчаяния.

Божена все еще не обращала внимания на Тёрлеса. Казалось, она делала это со злости, только чтобы его раздосадовать. Внезапно она прервала разговор:

— Дайте мне денег, я схожу за чаем и за водкой. Тёрлес дал ей одну из серебряных монет, которые днем получил от матери. Божена взяла с подоконника спиртовку со множеством вмятин и зажгла горелку; затем стала медленно и шаркающей походкой спускаться по лестнице.

Байнеберг толкнул Тёрлеса.

— Почему ты такой скучный? Она подумает, что ты трусишь.

— Не втягивай меня, — попросил Тёрлес, — у меня нет настроения. Беседуй с ней один. С чего это она, кстати, то и дело заговаривает о твоей матери?

— С тех пор как она знает мою фамилию, она утверждает, что служила у моей тетки и знала мою мать. Отчасти это, по-видимому, правда, но отчасти она, конечно, врет — просто удовольствия ради; хотя мне непонятно, что ее тут забавляет.

Тёрлес покраснел; поразительная мысль пришла ему в голову... Но тут вернулась Божена с водкой и снова села рядом с Байнебергом на кровать. И сразу же продолжила прежний разговор.

— ...Да, твоя мама была красивая девушка. Ты со своими оттопыренными ушами нисколько на нее не похож. И веселая. Не одному, наверно, кружила голову. И права была.

После небольшой паузы ей вспомнилось, видно, что-то особенно веселое.

— Твой дядя) драгунский офицер, помнишь? Кажется, Карл его звали, он был кузен твоей матери, так вот, он тогда ухаживал за ней. А по воскресеньям, когда дамы были в церкви, приставал ко мне. Каждую минуту требовал принести ему в комнату то одно, то другое. С собой он был хоть куда, до сих пор помню, только уж совсем не стеснялся...

Она сопровождала эти слова многозначительным смехом. Затем стала дальше распространяться на эту тему, доставлявшую ей, видимо, особое удовольствие. Ее речь была развязна, и говорила она так, словно хотела замарать каждое слово в отдельности.

— ...Думаю, он и матери твоей нравился. Если бы она только узнала это! Наверно, твоей тетке пришлось бы выгнать из дома меня и его. Таковы уж эти благородные дамы, особенно когда у них еще нет мужа. Божена, миленькая, сходи, Божена, миленькая, принеси, — только и слышно было весь день. А когда кухарка забеременела, тут бы послушал! Они, с них станет, думали, что наша сестра ноги моет только раз в год. Кухарке, правда, они ничего не сказали, но я кое-что услышала, когда прислуживала в комнате, а они как раз говорили об этом. Твоя мать сделала такое лицо, словно готова напиться одеколона. А вскоре твоя тетка сама ходила с брюхом до носа...

Во время речи Божены Тёрлес чувствовал себя почти беззащитным перед ее мерзкими намеками.

То, что она описывала, он живо видел перед собой. Мать Байнеберга превратилась в его собственную. Он вспоминал светлые комнаты родительской квартиры. Ухоженные, чистые, неприступные лица, которые дома во время званных обедов часто внушали ему какое-то благоговение, холеные, прохладные руки, которые даже за едой, казалось, не давали себе ни малейшей поблажки. Множество таких подробностей вспоминалось ему, и ему было стыдно находиться в такой дурно пахнущей комнатухе и вздрагивать от унижительных слов какой-то девки. Воспоминание о совершенных манерах этого никогда не забывающего о форме общества оказало на него более сильное воздействие, чем всякие моральные соображения. Метание его темных страстей показалось ему смешным. С провидческой ясностью увидел он холодное, отклоняющее движение руки, смущенную улыбку, с которыми его отстранили бы от себя, как маленького неопрятного зверька. Тем не менее он, как привязанный, остался сидеть на своем месте.

С каждой подробностью, какую он вспомнил, в нем, наряду со стыдом, вырастала и цепь гадких мыслей. Она началась, когда Байнеберг сделал то пояснение к речам Божены, после которого Тёрлес покраснел.

Тогда он вдруг невольно подумал о собственной матери, и это засело, это ему не удавалось стряхнуть. Это только промелькнуло у него на границе сознания... с быстротой молнии, в смутной дали... на краю... мимолетно... Это и мыслью-то назвать нельзя было. И тут же вереницей побежали вопросы, которые должны были это прикрыть: «С какой стати эта Божена ставит свою низкую личность рядом с личностью моей матери? С какой стати проталкивается к ней в тесноте одной и той же мысли? Почему не делает земного поклона, раз уж ей нужно о ней говорить? Почему нет ничего, что как пропасть выразило бы отсутствие тут какой бы то ни было общности? Ведь как же так? Эта женщина для меня сгусток всяческой похоти; а моя мать — существо, которое до сих пор проходило через мою жизнь в безоблачной дали, ясно и без снижений, как небесное тело, по ту сторону всякого вожделения...»

Но все эти вопросы не были сутью дела, не затрагивали ее. Они были чем-то вторичным; чем-то, что пришло Тёрлесу на ум лишь впоследствии. Они потому и множились, что ни один не попадал в точку. Они были лишь увертками, парафразами того

факта, что неосознанно, неожиданно, инстинктивно появилась некая психологическая связь, которая еще до того, как они возникли, ответила на них в недобром смысле. Тёрлес пожирал глазами Божену и при этом не мог забыть свою мать; через него проходила цепь соединявшей обеих связи. Все остальное было лишь барахтаньем в этом сплетении образов. Их сплетенность была единственным фактом. Но из-за тщетности попыток сбросить с себя его гнет факт этот приобретал страшное, неясное значение, которое сопровождало всяческие усилия словно бы коварной усмешкой.

Тёрлес огляделся в комнате, чтобы освободиться от этого. Но все уже приняло один этот смысл. Железная печурка с пятнами ржавчины сверху, кровать с шаткими столбиками и крашеной спинкой, с которой во многих местах облупилась краска, грязные постельные принадлежности, проглядывавшие сквозь дыры ветхого покрывала; Божена, ее рубашка, сползшая с одного плеча, пошлый, крикливо-красный цвет ее юбки, ее залиvistый смех во весь рот; наконец, Байнеберг, чье поведение по сравнению с обычным казалось ему поведением какого-то беспутного священника, который, сбесившись, вплетает двусмысленности в строгие формулы молитвы... Все это толкало в одну сторону, теснило ее и насильно сворачивало его мысли все назад и назад.

Лишь в одном месте нашли покой его взгляды, затравленно перебегавшие с одного на другое. Это было выше маленькой занавески. Там с неба заглядывали в комнату тучи и неподвижно стояла луна.

Казалось, он вышел вдруг на свежий, спокойный ночной воздух. На миг все его мысли стихли. Затем пришло одно приятное воспоминание. Загородный дом, где они жили последним летом. Ночи в молчащем парке. Дрожащий звездами, бархатно-темный небосвод. Голос матери из глубины сада, где она гуляла с папой по слабо светившимся гравийным дорожками. Песни, которые она негромко сама себе напевала. Но тут — его прямо-таки пронзило — опять возникало это мучительное сравнение. Что они оба могли тогда чувствовать? Любовь? Нет, мысль эта впервые пришла к нему сейчас. Это вообще нечто совсем другое. Это не для больших и взрослых людей. И уж вовсе не для его родителей. Сидеть ночью у открытого окна и чувствовать себя всеми покинутым, чувствовать себя другим, чем большие, превратно понятым при каждом смешке, при каждом насмешливом взгляде, не быть в силах никому объяснить, что ты уже значишь, и мечтать о той, которая это поймет, — вот что такое любовь! Но для этого нужно быть молодым и одиноким. У них это было, наверно, что-то другое. Что-то спокойное и невозмутимое. Мама просто пела вечером в темном саду, и ей было весело.

Но этого-то как раз и не понимал Тёрлес. Терпеливые планы, которые для взрослых — а они этого и не замечают — сцепляют дни в месяцы и годы, были ему еще чужды. Как и то отупение, для которого даже никакого вопроса нет уже в том, что вот и еще один день подходит к концу. Его жизнь была направлена на каждый день. Каждая ночь означала для него ничто, могилу, погашенность. Способности каждодневно ложиться умирать, не испытывая из-за этого беспокойства, он еще не приобрел.

Поэтому он всегда подозревал за ней что-то, что от него скрывают. Ночи казались ему темными воротами к таинственным радостям, которые от него утаили, отчего его жизнь была пуста и несчастна.

Он вспомнил странный смех матери и то, как она — он увидел это в один из тех вечеров — в шутку прижалась к плечу мужа. Это, казалось, исключало какое бы то ни было сомнение. Из мира этих спокойных, стоящих выше всякий подозрений тоже должна была вести сюда какая-то дверца. И зная, что так оно и есть, он мог думать об этом только с той определенной улыбкой, злой недоверчивости которой он тщетно сопротивлялся...

Божена тем временем продолжала рассказывать. Тёрлес слушал вполуха. Она говорила о ком-то, кто тоже приходит чуть ли не каждое воскресенье...

— Как его фамилия? Он из твоего набора.

— Райтинг?

— Нет.

— Какого он вида?

— Он приблизительно такого же роста, как этот, — Божена указала на Тёрлеса, — только голова у него великовата.

— А, Базини?

— Да, да, так он назвал себя. Очень смешной. И благородный. Пьет только вино. Но глупый. Это стоит ему кучу денег, а он ничего не делает, только что-нибудь рассказывает мне. Он хвастается романами, которые будто бы крутит дома. Какой только ему от этого толк? Я же вижу, что он в первый раз в жизни пришел к бабе. Ты тоже еще мальчишка, но ты нахальный. А он неловкий и боится этого, потому и расписывает мне, как должен обходиться с женщинами сластолюбец — да, так он сказал. Он говорит, что все бабы ничего другого не стоят. Откуда вам это знать уже?

Байнеберг ответил ей насмешливой ухмылкой.

— Смейся, смейся! — весело прикрикнула на него Божена. — Я его как-то спросила, неужели ему не стыдно было бы перед матерью. «Мать?.. Мать? — говорит он в ответ. — Что это такое? Этого теперь не существует. Это я оставил дома, перед тем как пошел к тебе...» Да, открой свои длинные уши, все вы такие! Миленькие вы сыночки, мальчики из барских семей. Ваших матерей мне просто жаль!..

При этих словах у Тёрлеса снова возникло то прежнее ощущение, что он все оставил позади и предал образ родителей. И теперь он увидел, что даже ничего ужасного этим не совершил, а совершил только что-то вполне обыкновенное. Ему стало стыдно. Но и другие мысли тоже вернулись. Они тоже так поступают! Они предают тебя! У тебя есть тайные партнеры! Может быть, у них это как-то иначе, но одно у них должно быть таким же — тайная, ужасная радость. Что-то, в чем можно утопить себя со всем своим страхом перед однообразием дней... Может быть, они даже больше знают?! Что-то совсем необыкновенное? Ведь днем они такие успокоенные... и этот смех матери?.. Словно она спокойным шагом шла закрывать все двери.

В этом противоборстве наступило мгновение, когда Тёрлес сдался и скрепя сердце покорился буре.

И как раз в это мгновение Божена встала и подошла к нему.

— А почему маленький ничего не говорит? Он чемто огорчен?

Байнеберг что-то шепнул и зло улыбнулся.

— Что, тоска по дому? Мама, что ли, уехала? И этот гадкий мальчишка сразу бежит к такой!..

Божена ласково зарыла растопыренные пальцы в его волосы.

— Брось, не глупи. Ну-ка, поцелуй меня. Благородные люди тоже не марципановые.

И она запрокинула ему голову.

Тёрлес хотел что-то сказать, заставить себя отпустить какую-нибудь грубую шутку, он чувствовал, что все сейчас зависит от того, чтобы сказать какое-нибудь безразличное, пустое слово, но он не издал ни звука. С окаменевшей улыбкой глядел он в это беспутное лицо, склонившееся над его лицом, в эти неясные глаза, затем внешний мир стал уменьшаться... уходить все дальше... На миг возник облик того малого, что поднял камень, и показалось, что тот смеется над ним... затем он остался совсем один...

— Знаешь, я нашел его, — прошептал Райтинг.

— Кого?

— Того, кто тащит из тайничков.

Тёрлес только что вернулся с Байнебергом. Подступало время ужина, и дежурный надзиратель уже ушел. Между зелеными столами образовались группы болтающих, и в зале гудела и жужжала теплая жизнь.

Это был их обычный класс с белеными стенами, большим черным распятием и портретами августейшей четы по обе стороны доски. У большой железной печки, которую еще не топили, сидели, частью на подиуме, частью на поваленных стульях, те молодые люди, что днем провожали на станцию супругов Тёрлесов. Кроме Райтинга, это были

длинный Гофмайер и Джюш — такую кличку носил один маленький польский граф.

Тёрлесу было до некоторой степени любопытно.

Тайнички стояли в глубине комнаты и представляли собой длинные шкафы со множеством запирающихся выдвижных ящиков, где питомцы училища хранили свои письма, книги, деньги и всякие мелочи.

И уже довольно давно некоторые жаловались, что у них пропадали мелкие суммы денег, однако определенных предположений никто не высказывал.

Байнеберг был первым, кто мог с уверенностью сказать, что у него — на прошлой неделе — украли крупную сумму. Но знали об этом только Райтинг и Тёрлес.

Они подозревали служителей.

— Ну, рассказывай! — попросил Тёрлес, но Райтинг быстро сделал ему знак:

— Тсс! Позднее. Еще никто об этом не знает.

— Служитель? — прошептал Тёрлес.

— Нет.

— Хотя бы намекни — кто?

Райтинг отвернулся от остальных и тихо сказал: «Б». Никто, кроме Тёрлеса, ничего не понял из такого осторожного разговора. Но на Тёрлеса эта новость подействовала как внезапный набег. Б.? — это мог быть только Базини. Но это же было невозможно! Его мать была состоятельной дамой; его опекун носил титул «превосходительство». Тёрлесу не верилось, а на ум приходил рассказ Божены.

Он едва дождался минуты, когда все пошли ужинать. Байнеберг и Райтинг остались, сославшись на то, что сыты по горло еще с послеполуденной трапезы.

Райтинг предложил все-таки подняться сначала «наверх».

Они вышли в коридор, бесконечно тянувшийся перед учебным залом. Колышущееся пламя газовых рожков освещало его лишь на коротких участках, и шаги отдавались от ниши к нише даже при всем старании ступать неслышно...

Метрах в пятидесяти от двери шла лестница на третий этаж, где находились естественно-исторический музей, другие собрания учебных пособий и множество пустующих комнат.

Здесь лестница делалась узкой и поднималась к чердаку прямоугольными поворотами коротких маршей. И поскольку старые здания часто бывают построены нелогично, с избытком закоулков и ненужных ступенек, она уходила значительно выше уровня чердака, так что по ту сторону железной запертой двери, у которой она заканчивалась, для спуска на чердак потребовалась особая деревянная лесенка.

А по эту сторону возникло, таким образом, укромное помещение высотой в несколько метров, до самых балок. Сюда никто не ходил, и здесь были свалены старые кулисы, оставшиеся с незапамятных времен от каких-то спектаклей.

Дневной свет даже в светлые полдни задыхался на этой лестнице в сумраке, который был насыщен старой пылью, ибо этим ходом на чердак, расположенным у крыла мощного здания, почти никогда не пользовались.

На последней площадке лестницы Байнеберг перемахнул через перила и, держась за их прутья, стал спускаться к кулисам, за ним последовали Райтинг и Тёрлес. Там опорой им послужил ящик, специально для этого туда заброшенный, а с него уже они спрыгнули на пол.

Даже если бы глаза стоящего на лестнице привыкли к темноте, он различил бы оттуда не больше, чем беспорядочное нагромождение корявых, сдвинутых как попало кулис.

Но когда Байнеберг немного отодвинул одну из них, стоявшим внизу открылся узкий и длинный проход.

Здесь было совершенно темно, и надо было очень хорошо знать это место, чтобы пробраться дальше. То и дело раздавалось шуршанье одной из этих больших полотняных стенок, когда ее задевали, что-то рассыпалось по полу, словно вспугнули мышей, и тянуло затхлым духом старого сундука.

Трое привыкших к этой дороге пробирались вперед с бесконечной осторожностью, на каждом шагу стараясь не наткнуться на одну из веревок, натянутых над полом, чтобы служить ловушкой и предупреждать об опасности.

Прошло немало времени, прежде чем они добрались до маленькой двери, навешенной справа, почти перед самой стеной, отделявшей чердак.

Когда Байнеберг открыл ее, они оказались в узкой клетушке под верхней лестничной площадкой; при мерцании зажженной Байнебергом лампы комната эта имела довольно фантастический вид.

Потолок был горизонтален только в той части, что находилась непосредственно под площадкой, но и здесь лишь такой высоты, что едва можно было выпрямиться во весь рост. А сзади, повторяя профиль лестницы, он скашивался и кончался острым углом. Передней, противоположной этому скосу стороной клетушка примыкала к тонкой перегородке, отделявшей чердак от лестничной клетки, а в длину имела естественной границей каменную стену, по которой шла лестница. Только вторая боковая стенка, где была навешена дверь, казалась специально пристроенной. Своим возникновением она была обязана, вероятно, намерению устроить небольшую кладовку для инструментов, а может быть, просто прихоти архитектора, которому при взгляде на этот темный угол пришла в голову средневековая идея заделать его стеной и превратить в укрытие.

Во всяком случае, кроме этих троих, во всем училище не было, пожалуй, никого, кто знал бы о существовании этого помещения, а тем более вздумал бы предназначить его для чего-то.

Поэтому они смогли оборудовать его целиком на свой взбалмошный вкус.

Стены были полностью задрапированы кроваво-красной материей, которую Райтинг и Байнеберг стащили из какой-то чердачной комнаты, а пол был покрыт двойным слоем толстых грубошерстных одеял, которыми в спальнях залах дополнительно укрывались зимой. В передней части каморки стояли низкие, обитые материей ящички, служившие сиденьями; сзади, где пол и потолок сходились острым углом, было устроено спальное место. Ложе это помещало трех-четырех человек и занавеской могло быть затемнено и отделено от передней части клетушки.

На стене у двери висел заряженный револьвер.

Тёрлес не любил этой каморки. Ее теснота и эта уединенность ему, правда, нравились, здесь он чувствовал себя как внутри горы, и запах старых, пропылившихся кулис будил в нем какие-то неопределенные ощущения. Но эта потаенность, эти веревочные сигналы тревоги, этот револьвер, призванный создавать полную иллюзию непокорности и секретности, казались ему смешными. Как будто кто-то хотел убедить себя, что ведет разбойничью жизнь.

Тёрлес участвовал в этом, собственно, лишь потому, что не хотел отставать от обоих. А Байнеберг и Райтинг относились к этим вещам ужасно серьезно. Тёрлес это знал. Он знал, что у Байнеберга есть ключи ко всем подвальным и чердачным помещениям училища. Знал, что тот часто на много часов исчезал из класса, чтобы где-то — высоко наверху среди брусьев стропильной фермы или под землей в одном из множества разветвленных заброшенных подвалов — сидеть и при свете фонарика, который он всегда носил с собой, читать или предаваться мыслям о вещах сверхъестественных.

Подобное он знал и о Райтинге. У того тоже были свои укромные места, где он хранил тайные дневники; только они были заполнены дерзкими планами на будущее и точными записями о причине, начале и ходе многочисленных интриг, которые он затевал среди товарищей. Ибо для Райтинга не было большего удовольствия, чем натравливать друг на друга людей, побеждать одного с помощью другого и наслаждаться вынужденными любезностями и лестью, под покровом которых он чувствовал внутреннее сопротивление ненависти.

— Я упражняюсь таким образом, — было единственное его оправдание, и он говорил это с милой улыбкой. Также в виде упражнения он почти ежедневно боксировал в каком-

нибудь отдаленном месте то со стеной, то с дверью, то со столом, чтобы укрепить мышцы и сделать руки твердыми от мозолей.

Тёрлес все это знал, но понимал лишь до определенной точки. Он несколько раз следовал и за Райтингом, и за Байнебергом по их своенравным путям. Ведь необычность этого ему нравилась. И еще он любил выходить затем на дневной свет, к товарищам, в гущу веселья, чувствуя, как в нем, в его глазах и ушах, еще трепещут волнения одиночества и видения темноты. Но когда в таких случаях Байнеберг или Райтинг, чтобы с кем-то поговорить о себе, объясняли ему, что их ко всему этому побуждало, он не мог их понять. Райтинга он находил даже эксцентричным. Тот любил говорить о том, что отец его был человек удивительно непоседливый, а потому и пропал без вести. Его фамилия будто бы вообще лишь скрывала истинную, принадлежавшую очень высокому роду. Он думал, что мать когда-нибудь еще посвятит его в далеко идущие притязания, рассчитывал на какие-то государственные перевороты и большую политику и хотел ввиду этого стать офицером.

Таких намерений Тёрлес и представить себе не мог как следует. Века революций, казалось ему, миновали раз и навсегда. Однако Райтинг умел принимать все всерьез. Он был тиран и безжалостен к тем, кто сопротивлялся ему. Его приверженцы менялись со дня на день, но большинство было всегда на его стороне. В этом состоял его талант... Против Байнеберга он год или два назад вел великую войну, которая кончилась для того поражением. Байнеберг оказался под конец в довольно большой изоляции, хотя умением оценивать людей, хладнокровием и способностью вызывать неприязнь к неугодным ему он вряд ли уступал своему противнику. Но ему не хватало милых и располагающих черт Райтинга. Его спокойствие и его философская невозмутимость внушали почти всем недоверие. Чувствовалось что-то гнусное и гадкое в глубине его души. Тем не менее он доставил Райтингу изрядные неприятности, и победа последнего была почти случайной. С тех пор они в интересах обоих держались вместе.

А Тёрлеса эти вещи не занимали. Поэтому и ловкости в них у него не было. Однако он тоже жил в этом мире и мог каждодневно воочию видеть, что значит быть в государстве — ведь каждый класс в таком заведении — это маленькое отдельное государство — на первых ролях. Оттого он испытывал какое-то робкое почтение к обоим своим друзьям. Порывы подражать им, иногда у него возникавшие, не шли дальше дилетантских попыток. Поэтому, будучи и так-то моложе, он оказался по отношению к ним в положении ученика или помощника. Он пользовался их защитой, а они прислушивались к его советам. Ибо ум Тёрлеса был очень подвижен, стоило его навести на след, он с необычайной плодотворностью придумывал самые хитроумные комбинации. Никто не мог так точно, как он, предсказать разные возможности, которых можно ждать от поведения человека в тех или иных обстоятельствах. Только когда надо было принять решение, на свой страх и риск остановиться на одной из имеющихся психологических возможностей и действовать в соответствии этим, он пасовал, терял интерес и не проявлял энергии. Однако его роль тайного начальника генерального штаба доставляла ему удовольствие. Тем более что она была почти единственным, что немного рассеивало его душевную скуку.

Но иногда до его сознания все-таки доходило, что он теряет из-за этой внутренней зависимости. Он чувствовал, что для него все, что он делает, только игра. Только что-то такое, что помогает ему преодолеть это личиночное прозябание в училище. Что-то не имеющее отношения к его истинной сути, которая проявится лишь впоследствии, в еще неопределенно далеком будущем.

Видя при случае, насколько серьезно относятся оба его друга к таким вещам, он чувствовал, что ему этого не понять. Он с удовольствием высмеял бы обоих, но боялся, что за их фантазиями таится больше правды, чем он способен уразуметь. Он чувствовал себя как бы разрываемым между двумя мирами солидно-буржуазным, где, в общем-то, царили порядок и разум, как он к этому привык дома, и авантюрным, полным темноты, тайны, крови и поразительных неожиданностей. Один, казалось, исключал другой. Насмешливая улыбка, которую он был бы рад задержать на губах, и дрожь, пробежавшая у него по спине,

скрещивались. Начиналось мелькание мыслей...

Тогда он жаждал почувствовать в себе наконец что-то определенное; твердые потребности, различающие хорошее и дурное, годное и негодное; жаждал сделать выбор, пусть неверный — и то лучше, чем сверхвосприимчиво вбирать в себя все...

Когда он вошел в каморку, эта внутренняя раздвоенность, как всегда здесь, взяла его в свою власть.

Райтинг тем временем начал рассказывать.

Базини должен был ему деньги и откладывал возвращение долга с одного срока на другой; каждый раз под честное слово.

— Я ведь не возражал, — сказал Райтинг, — чем дольше так тянулось бы, тем больше зависел бы он от меня. Ведь когда три или четыре раза не сдержишь слово — это же, в общем-то, не пустяк? Но наконец мои деньги понадобились мне самому. Я сказал ему об этом, и он поклялся всеми святыми. Слова, конечно, опять не сдержал. Тогда я заявил ему, что предам дело огласке. Он попросил двухдневной отсрочки, потому что, мол, ждал перевода от опекуна. А я тем временем навел справки об его обстоятельствах. Хотел выяснить, от кого он еще может зависеть, — с этим ведь тоже надо считаться.

То, что я узнал, меня отнюдь не обрадовало. Он был в долгу у Джюша и у некоторых других. Часть этих долгов он уже вернул, конечно, из тех денег, которые должен был мне. С другими ему не терпелось рассчитаться. Меня это разозлило. Он считал меня самым добреньким? Мне это не было бы приятно. Но про себя я подумал: «Подождем. Найдется случай избавить его от таких заблуждений». Как-то в разговоре он назвал мне сумму ожидаемого перевода, чтобы успокоить меня, что она больше, чем причитающееся мне. Я порасспросил кое-кого и выяснил, что это далеко не покроет общую сумму его долгов. «Ага, — подумал я, — теперь он, наверно, попробует еще разок».

И правда, он доверительно подошел ко мне и попросил меня, поскольку другие очень торопят, сделать ему поблажку. Но на этот раз я остался совершенно холоден. «Ступай кланчить к другим, — сказал я ему, — я не привык уступать им дорогу». «Тебя я знаю лучше, к тебе у меня больше доверия», попробовал он. «Вот мое последнее слово: ты завтра принесешь мне деньги, или я поставлю тебе свои условия». «Что за условия?» — осведомился он. Жаль, что вы не слышали этого! Словно он готов был продать свою душу. «Что за условия? Ого! Ты должен будешь подчиняться мне во всем, что я ни предприму». — «И только? Конечно, буду, мне и самому приятно быть с тобой заодно!» — «О, не только когда это будет для тебя удовольствием. Ты должен будешь выполнять все, что я ни пожелаю — в слепом послушании!» Тут он посмотрел на меня искоса, и с ухмылкой, и смущенно. Он не знал, как далеко можно заходить, насколько серьезно это для меня. Он, наверно, был бы рад пообещать мне все, но, вероятно, боялся, что я только проверяю его. Наконец он сказал, покраснев: «Я отдам тебе деньги». Он забавлял меня, это был такой человек, которого я среди пятидесяти других совсем не замечал. Ведь он же в счет не шел, правда? И вдруг он очутился передо мной так близко, что я разглядел его полностью. Я точно знал, что он готов продаться — без всякого шума, лишь бы никто об этом не знал. Это был действительно сюрприз, и нет ничего прекраснее минуты, когда тебе вдруг так открывается человек, когда его манера жить, которой ты не замечал до сих пор, вдруг перед тобой как на ладони, словно ходы червя в распавшейся надвое деревяшке...

На следующий день он действительно вернул мне деньги. Больше того, он пригласил меня выпить с ним в клубе. Он заказал вино, пирожные, папиросы и попросил меня разрешить ему ухаживать за мной за столом — в «благодарность» за то, что я был так терпелив. Мне было только неприятно, что он держался как ни в чем не бывало. Как будто между нами не было обронено ни одного обидного слова. Я намекнул на это; он стал только еще сердечнее. Казалось, он хотел освободиться от меня, быть снова со мной на равных. Он делал вид, что ничего не помнит, через каждые два слова лез ко мне с уверениями в дружбе; только в глазах его было что-то цеплявшееся за меня, словно он боялся вновь потерять искусственно созданное чувство близости. Наконец он стал мне противен. Я думал:

«Неужели он полагает, что я это проглочу?» — и размышлял, как нанести ему моральный удар. Я искал чего-нибудь пооскорбительней. Тут мне вспомнилось, что Байнеберг утром сказал мне, что у него украли деньги. Вспомнилось это совершенно невзначай. Но это вернулось. И у меня буквально сперло дыхание. «Это может быть удивительно кстати», подумал я и невзначай спросил его, сколько же у него еще денег. Расчет, который я на этом построил, оправдался. «Кто же настолько глуп, чтобы несмотря ни на что давать тебе еще деньги в долг?» — спросил я со смехом. «Гофмайер».

Я прямо-таки задрожал от радости. За два часа до того Гофмайер приходил ко мне и сам хотел занять денег. И то, что несколько минут назад мелькнуло у меня в голове, вдруг стало действительностью. Так случайно, в шутку, подумаешь: сгореть бы сейчас этому дому, а в следующий миг пламя уже вздымается к небу...

Я быстро еще раз перебрал все возможности, конечно, уверенности тут быть не могло, но моего чувства мне было достаточно. И я склонился к нему и сказал самым любезным тоном, так, словно мягко вгонял ему в мозг тонкую заостренную пал очку: «Послушай, дорогой Базини, почему ты мне врешь?» Когда я это говорил, глаза у него, казалось, испуганно бегали, но я продолжал: «Кому-нибудь ты, может быть, и заморочишь голову, но я как раз не тот человек. Ты же знаешь, у Байнеберга...» Он не покраснел и не побледнел, казалось, будто он ждал, что сейчас разрешится какое-то недоразумение. «Короче, — сказал я тогда, — деньги, из которых ты вернул мне долг, ты сегодня ночью вытащил у Байнеберга из ящика».

Я откинулся, чтобы проследить за его впечатлением. Он побагровел; слова, которыми он давился, нагоняли ему на губы слюну; наконец он обрел дар речи. Это был целый поток обвинений по моему адресу: как осмелился я утверждать подобное, чем хоть сколько-нибудь оправдано такое гнусное предположение; я только ищущ ссоры с ним, потому что он слабее; я делаю это лишь от досады, что после уплаты долга он от меня свободен; он обратится к классу... к старостам... к директору; Бог свидетель его невинности, и так далее до бесконечности. Я уже и впрямь испугался, что поступил с ним несправедливо и оскорбил его ни за что — до того к лицу был ему румянец; у него был вид затравленного, беззащитного зверька. Но все же мне было не вмоготу так сразу и спасовать. Я удерживал насмешливую улыбку — по сути только от смущения, — с которой слушал все его речи. Время от времени я кивал и спокойно говорил: «Но я же знаю».

Через некоторое время успокоился и он. Я продолжал улыбаться. У меня было такое чувство, что одной этой улыбкой я могу превратить его в вора, даже если он им еще не был. «А исправить ошибку, — думал я, — всегда можно будет и позже».

Еще через несколько минут, в течение которых он то и дело украдкой поглядывал на меня, он вдруг побледнел. С лицом его произошла странная перемена. Прежняя прямо-таки невинная миловидность исчезла, казалось, вместе с румянцем. Лицо стало зеленоватым, мучнистым, разбухшим. Раньше я видел такое только один-единственный раз — когда случайно проходил мимо по улице, при задержании убийцы. Тот тоже расхаживал среди других людей, и по виду его ни о чем нельзя было догадаться. Но когда полицейский положил руку ему на плечо, он вдруг стал другим человеком. Его лицо изменилось, и глаза его, испуганные, ищущие выхода, принадлежали уже физиономии висельника.

Об этом напомнил мне изменившийся вид Базини. Теперь я знал все и только ждал...

Так оно и вышло. Я ничего больше не говорил, и Базини, измученный молчанием, стал плакать и попросил у меня пощады. Он же взял деньги только от нужды, не догадайся я об этом, он скоро вернул бы их, и никто ничего не узнал бы. Не надо говорить, что он украл, он ведь просто тайком взял взаймы... Он не мог продолжать из-за слез.

А потом он снова начал умолять меня. Он готов повиноваться мне, делать все, что я ни пожелаю, только бы я никому об этом не рассказывал. За это он буквально предлагал мне себя в рабы, и смесь хитрости и жадного страха, трепетавшая при этом в его глазах, была отвратительна. Я коротко обещал ему подумать, как с ним поступить, но сказал, что это прежде всего дело Байнеберга. Как нам, по-вашему, быть с ним?

Рассказ Райтинга Тёрлес слушал молча, с закрытыми глазами. Время от времени озноб пробирал его до кончиков пальцев, и в голове его мысли бурно и беспорядочно всплывали рывками, как пузыри в кипящей воде. Говорят, что так бывает с тем, кто в первый раз видит женщину, которой суждено завлечь его в разрушительную страсть... Утверждают, что есть такое мгновение, когда сгибаешься, собираешься с силами, затаиваешь дыхание, мгновение внешнего безмолвия над напряженной внутренней связью между двумя людьми. Никак нельзя сказать, что происходит в это мгновение. Оно как бы тень, которую страсть отбрасывает перед собой. Органическая тень; ослабление всех прежних напряжений и в то же время состояние внезапной, новой связанности, в котором уже содержится все будущее; инкубация, сведенная к остроте укола иголкой... А с другой стороны оно — ничто, глухое, неопределенное чувство, слабость, страх...

Так чувствовал это Тёрлес. То, что рассказал Райтинг о себе и Базини, казалось ему, если он спрашивал себя об этом, незначительным. Легкомысленный проступок и трусливая подлость со стороны Базини, за которыми теперь наверняка последует какой-нибудь жестокий каприз Райтинга. Но, с другой стороны, он, словно в тоскливом предчувствии, ощущал, что события приняли теперь для него вполне личный оборот, и было в этом происшествии что-то, что угрожало ему как острым ножом.

Он представил себе Базини у Божены и огляделся в клетушке. Стены ее, казалось, грозили ему, падали на него, словно бы кровавыми руками тянулись к нему, револьвер двигался на своем месте туда-сюда...

В смутном одиночестве его мечтаний впервые что-то упало, как камень; это было вот здесь; тут ничего нельзя было поделать; это была действительность. Вчера Базини был еще совершенно таким же, как он сам; открылся люк, и Базини упал. В точности так же, как это описал Райтинг: внезапная перемена, и человек — другой...

И снова это как-то связалось с Боженой. Его мысли сотворили кощунство. Гнилой, сладкий запах, которым от них повеяло, смутил его. И это глубокое унижение, этот отказ от себя, эта покрытость тяжелыми, бледными, ядовитыми листьями стыда, которую он видел в своих мечтах как бесплотное далекое отражение в зеркале, — все это вдруг случилось с Базини.

Есть, значит, что-то, с чем действительно надо считаться, чего нужно остерегаться, что может вдруг выпрыгнуть из молчаливых зеркал мыслей?..

Но тогда возможно и все другое. Тогда возможны Райтинг и Байнеберг. Возможна эта клетушка... Тогда возможно также, что из этого светлого, дневного мира, который он только и знал до сих пор, есть какая-то дверь в другой, глухой, бушующий, страстный, разрушительный мир. Что между теми людьми, чья жизнь размеренно, как в прозрачном и прочном здании из стекла и железа, протекает между конторой и семьей, и другими людьми, опустившимися, окровавленными, развратно-грязными, блуждающими в лабиринтах, полных ревущих голосов, не только существует какой-то переход, но их границы тайно и тесно соприкасаются, так что их можно в любое мгновение переступить...

И вопрос остается только один: как это совершается? Что происходит в такое мгновение? Что с криком устремляется ввысь и что вдруг угасает?..

Таковы были вопросы, встававшие перед Тёрлесом. Они вставали неясно, с сомкнутыми губами, окутанные каким-то глухим, неопределенным чувством — то ли слабости, то ли страха.

Но многие их слова, отрывочно и порознь, звучали, словно издалека, в Тёрлесе и наполняли его робким ожиданием.

В это мгновение раздался вопрос Райтинга.

Тёрлес сразу заговорил. Он подчинился при этом какому-то внезапному порыву, какому-то смущению. Ему казалось, что предстоит что-то решающее, и он испугался этого надвигающегося, хотел уклониться, выиграть время. Он заговорил, но в тот же миг почувствовал, что может сказать только несущественное, что у его слов нет внутренней опоры и они вовсе не выражают действительного его мнения... Он сказал:

— Базини — вор.

И определенное, твердое звучание этого слова было так приятно ему, что он повторил его дважды.

— ...Вот. А таких наказывают... везде во всем мире. Надо заявить об этом, удалить его из училища! Пусть исправляется на стороне, среди нас ему уже не место!

Но Райтинг сказал с выражением неприятного удивления:

— Нет, зачем сразу доводить все это до крайности?

— Зачем? Неужели, по-твоему, это не само собой разумеется?

— Отнюдь нет. Ты держишься так, словно вот-вот хлынет серный дождь, чтобы всех нас уничтожить, если мы теперь оставим Базини в своей среде. А дело-то не такое уж страшное.

— Как можешь ты так говорить? Значит, с человеком, который крал, который потом предложил тебе себя в служанки, в рабы, ты готов по-прежнему вместе сидеть, вместе есть, вместе спать?! Я этого не понимаю. Нас ведь потому и воспитывают совместно, что мы все принадлежим к одному и тому же обществу. Разве тебе будет все равно, если тебе придется когда-нибудь служить в одном с ним полку или в одном министерстве, если он будет вращаться в кругу тех же семей, что и ты... может быть, ухаживать за твоей собственной сестрой?..

— Ну, ты же преувеличиваешь! — засмеялся Райтинг. — Как будто мы вступили в какое-то братство на всю жизнь! Что ж, по-твоему, мы всегда будем носить на себе печать «Из интерната в В. Имеем особые привилегии и обязательства»? Ведь позднее каждый из нас пойдет своим путем, и каждый станет тем, кем он вправе стать, ибо на свете существует не одно общество. Я хочу сказать, что нечего нам ломать себе голову над будущим. А что касается настоящего, то я ведь не сказал, что мы должны сохранять с Базини товарищеские отношения. Как-то уж удастся соблюдать дистанцию. Базини у нас в руках, мы можем делать с ним что хотим, по мне, хоть оплевывай его два раза в день — какое тут, если он это позволит, товарищество? А если взбунтуется, мы всегда сможем его осадить... Перестань только думать, что между нами и Базини есть что-то общее, кроме того, что его подлость доставляет нам удовольствие!

Хотя Тёрлес вовсе не был уверен в своей правоте, он продолжал упорствовать:

— Слушай, Райтинг, почему ты так занят Базини?

— Разве я занят им? Вот уж не знаю. Вообще-то у меня никаких особых причин, конечно, нет. Вся эта история мне безразлична донельзя. Меня злит только, что ты преувеличиваешь. Что у тебя в голове? Какой-то идеализм, по-моему. Священная любовь к училищу или к справедливости. Ты не представляешь себе, какой веет от этого скукой и образцовостью. Или, может быть, — и Райтинг подозревающе подмигнул Тёрлесу, — у тебя есть какая-то другая причина выставить Базини, и ты просто не хочешь признаться? Какая-нибудь старая месть? Тогда скажи! Ведь если нужно, мы же действительно можем воспользоваться этим удобным случаем.

Тёрлес повернулся к Байнебергу. Но тот лишь ухмыльнулся. Говоря, он потягивал длинный чубук, он сидел, по-восточному скрестив ноги, и из-за своих оттопыренных ушей походил при этом неверном освещении на какого-то странного идола.

— По мне, делайте что хотите. Меня не волнуют ни эти деньги, ни справедливость. В Индии его бы посадили на бамбуковый кол. Это было бы по крайней мере удовольствие. Он дурак и трус, жалеть его нечего, и, право, мне всю жизнь было в высшей степени безразлично, что случится с такими людьми. Сами они ничтожны, а что еще может произойти с их душой, мы не знаем. Да благословит Аллах ваш приговор!

Тёрлес ничего не ответил. После того как Райтинг ему возразил, а Байнеберг предоставил им решать дело без него, он выдохся. Он был не в силах больше сопротивляться; он чувствовал, что у него уже нет никакого желания остановить то неопределенное, надвигавшееся.

Поэтому было принято предложение, которое внес теперь Райтинг. Решили взять

Базини пока под надзор, в известной мере под опеку, чтобы тем самым предоставить ему возможность выпутаться. Отныне его доходы и расходы подлежат строгой проверке, а его отношения с остальными будут зависеть от разрешения троих.

С виду это решение было очень корректным и доброжелательным, «образцово скучным», как не сказал на этот раз Райтинг. Ведь каждый, не признаваясь в том себе чувствовал, что сейчас устанавливается какое-то промежуточное положение. Райтинг не отказался бы от продолжения этой истории, ибо она доставляла ему удовольствие, но, с другой стороны, ему еще не было ясно, какой дальнейший оборот дать ей. А Тёрлес от одной мысли, что теперь ему придется ежедневно иметь дело с Базини, чувствовал себя парализованным.

Когда он недавно произнес слово «вор», ему на миг стало легче. Он как бы выставлял наружу, отодвигал от себя то, что кипело внутри у него.

Но вопросов, которые сразу же затем возникли опять, это простое слово решить не могло. Теперь, когда от них уже не нужно было уклоняться, они стали яснее.

Тёрлес переводил взгляд от Райтинга к Байнебергу, закрывал глаза, повторял про себя принятое решение, опять поднимал глаза... Он ведь и сам не знал уже, это только его фантазия, которая ложится на все огромным кривым стеклом, или это правда и все действительно так жутко, как ему увиделось. И только Байнеберг с Райтингом ничего не знали об этих вопросах? Хотя они-то как раз с самого начала вполне освоились в этом мире, который ему сейчас вдруг впервые показался таким чужим?

Тёрлес боялся их. Но боялся лишь так, как боятся великана, зная, что он слеп и глуп...

Но одно не подлежало сомнению: он был сейчас гораздо дальше, чем еще четверть часа назад. Возможность поворота назад миновала. Появилось тихое любопытство — что же будет, после того как он против своей воли остался. Все, что шевелилось в нем, скрывала еще темнота, но его уже тянуло взглянуть в лики этой темени, которой другие не замечали. Легкий озноб примешивался к этой тяге. Словно теперь над его жизнью всегда будет висеть серое, пасмурное небо — с большими тучами, огромными, меняющимися фигурами и все новым вопросом: это чудовища? это только тучи?

И вопрос это лишь для него! Как что-то тайное, чуждое Другим, запретное...

Так в первый раз начал Базини приближаться к тому значению, которое ему суждено было позднее приобрести в жизни Тёрлеса.

На следующий день Базини был взят под опеку.

Не без некоторой торжественности. Воспользовались утренним часом, пропустив урок гимнастики, проходивший на большой лужайке в парке.

Райтинг произнес своего рода речь. Не то чтобы краткую. Он указал Базини на то, что тот проиграл свою жизнь, что вообще-то его следовало бы выдать и лишь по особой милости его пока избавляют от позора карательного отчисления.

Затем ему были сообщены особые условия. Контроль над их исполнением взял на себя Райтинг.

Базини был во время всей этой процедуры очень бледен, но не сказал ни одного слова, и по лицу его нельзя было определить, что происходило у него в душе.

Тёрлесу эта сцена казалась то очень безвкусной, то очень значительной.

Байнеберг обращал больше внимания на Райтинга, чем на Базини.

В течение следующих дней о происшествии, казалось, почти забыли. Райтинга, кроме как на уроках и во время еды, не было видно. Байнеберг был молчаливее чем когда-либо, а Тёрлес все отгонял мысли об этой истории.

Базини вращался среди товарищей как ни в чем не бывало.

Он был чуть выше Тёрлеса ростом, но сложения очень хилого, у него были мягкие, медлительные движения и женственные черты лица. Смышленостью он не отличался, в фехтовании и гимнастике был одним из последних, но была в нем какая-то милая, кокетливая приятность.

К Божене он в свое время заходил, только чтобы играть мужчину. Настоящее

вожделение при его отсталости в развитии было ему, конечно, чуждо.

Он просто считал своей неперменной обязанностью, необходимой данью порядку источать аромат галантного опыта. Прекрасней всего был для него тот миг, когда он уходил от Божены и все было позади, ибо ничего, кроме наличия воспоминаний, ему не было нужно.

Бывало, он и лгал из тщеславия. Так, после каникул он всегда возвращался с сувенирами маленьких приключений — лентами, локонами, записочками. Но когда он однажды привез в своем чемодане подвязку, милую, маленькую, душистую, небесной голубизны, а потом выяснилось, что принадлежала она не кому иному, как его собственной двенадцатилетней сестре, над ним немало глумились из-за этого смешного бахвальства.

Нравственная неполноценность, в нем обнаруживавшаяся, и его глупость были одного происхождения. Он не способен был сопротивляться никакому наитию, и последствия этого всегда поражали его. В этом он походил на тех женщин с миленькими кудряшками на лбу, что понемногу подсыпают яд в пищу супругу, а потом в ужасе удивляются незнакомым, суровым словам прокурора и смертному приговору.

Тёрлес избегал его. Благодаря этому постепенно прошел и тот глубинный испуг, который как бы под корнями его мыслей охватил и потряс его в первый миг. Вокруг Тёрлеса все снова становилось на свои места; изумление проходило и делалось с каждым днем нереальнее, как следы сна, которые не могут утвердиться в действительном, осязаемом, освещенном солнцем мире.

Чтобы еще сильнее закрепить это состояние, он сообщил обо всем в письме родителям. Только о том, что сам при этом почувствовал, он умолчал.

Он снова пришел к той точке зрения, что лучше всего при следующем случае добиться удаления Базини из училища. Он не мог представить себе, чтобы его родители думали об этом иначе. Он ждал от них строгого, брезгливого осуждения Базини, ждал, что они, так сказать, смахнут его кончиками пальцев, как нечистое насекомое, которое нельзя терпеть вблизи их сына.

Ничего подобного не оказалось в письме, полученном им в ответ. Родители добросовестно потрудились и как люди разумные взвесили все обстоятельства, насколько таковые можно было представить себе по неполным, отрывочным сведениям того торопливого письма. Из их ответа следовало, что они предпочитали судить как можно снисходительнее и сдержаннее, тем более что в описании сына не исключены были всякие преувеличения, вызванные юношеским негодованием. Поэтому они одобряли решение дать Базини возможность исправиться и полагали, что из-за одного небольшого проступка нельзя человеку сразу ломать судьбу. Тем более что — и это они, понятно, подчеркивали особенно — речь тут идет не о сложившихся людях, а пока еще неустойчивых, развивающихся характерах. На всякий случай с Базини надо, конечно, держаться сурово и строго, но проявлять доброжелательность и стараться исправить его.

Это они подкрепляли целым рядом примеров, хорошо известных Тёрлесу. Ведь он прекрасно помнил, как в первые годы ученья, когда дирекция еще любила применять драконовские методы и строго ограничивала карманные деньги, многие часто не удерживались и выпрашивали у более счастливых из тех прожорливых малышей, которыми все они были, часть их бутерброда с ветчиной или еще что-нибудь. Сам он тоже не всегда бывал свободен от этого, хотя и прятал свой стыд, ругая злобную, пакостную дирекцию. И не только возрасту, но и строгодобрым родительским увещаниям был он обязан тем, что постепенно научился с гордостью преодолевать подобные слабости.

Но сегодня все это не оказало воздействия.

Он признавал, что родители во многих отношениях правы, да и знал, что совсем верно на расстоянии судить невозможно; однако в их письме не хватало, казалось, чего-то куда более важного, не хватало понимания того, что случилось что-то бесповоротное, что-то такое, что среди людей известного круга происходить вообще не должно. Отсутствовали изумление и смущение. Они говорили так, словно это обычное дело, которое нужно уладить с тактом, но без особого шума. Пятно, такое же некрасивое, но неизбежное, как естественная

потребность. Ни тени более личного, встревоженного отношения, точно так же, как у Байнеберга и Райтинга.

Тёрлес мог бы принять к сведению это. Но вместо этого он изорвал письмо в клочья и сжег его. Впервые в жизни он позволил себе такую непочтительность.

В нем была вызвана реакция, противоположная желаемой. В противоположность простому взгляду, который ему навязывали, ему сразу снова пришла на ум проблематичность, сомнительность проступка Базини. Качая головой, он сказал себе, что об этом еще надо подумать, хотя не мог точно объяснить себе почему...

Особенно странно получалось, когда он перебирал это скорее в мечтах, чем в размышлениях. Тогда Базини представал ему понятным, обыденным, четко очерченным, таким, каким мог видаться его, Тёрлеса, родителям и друзьям; а в следующее мгновение тот исчезал и вновь возвращался, возвращался снова и снова маленькой, совсем маленькой фигуркой, которая временами вспыхивала на глубоком, очень глубоком фоне...

И вот однажды ночью — было очень поздно, и все уже спали — Тёрлеса разбудили.

У его кровати сидел Байнеберг. Это было так необычно, что он сразу почувствовал что-то особенное.

— Вставай. Но не шуми, чтобы нас никто не заметил. Мы поднимемся, мне надо тебе кое-что рассказать.

Тёрлес наспех оделся, накинул шинель и сунул ноги в ночные туфли.

Наверху Байнеберг с особой старательностью восстановил все заграждения, затем приготовил чай.

Тёрлес, еще не полностью высвободившийся из пут сна, с удовольствием вбирал в себя золотисто-желтое душистое тепло. Он устроился в уголке, сжавшись в комок, в ожидании чего-то необычайного.

Наконец Байнеберг сказал:

— Райтинг обманывает нас.

Тёрлес не испытал никакого удивления; чем-то само собой разумеющимся показалось ему, что дело это получило такое продолжение; он чуть ли не ждал этого. Совершенно произвольно он сказал:

— Так я и думал!

— Вот как? Думал? Но заметил-то вряд ли что-нибудь? Это было бы на тебя непохоже.

— Во всяком случае, мне ничего не бросалось в глаза. Да и не интересовался я этим больше.

— Но зато я глаз не спускал. Я с первого же дня не доверял Райтингу. Ты же знаешь, что Базини вернул мне деньги. А из каких, по-твоему, капиталов? Из своих собственных?.. Нет.

— И, по-твоему, Райтинг тоже в этом замешан?

— Конечно.

В первое мгновение Тёрлес не подумал ничего другого, кроме того, что и Райтинг втянулся в такое дело.

— По-твоему, значит, Райтинг так же, как и Базини?..

— Да что ты! Райтинг просто дал Базини нужную сумму из собственных денег, чтобы тот рассчитался со мной.

— Но я не вижу никакой причины для этого.

— Я тоже долгое время не мог увидеть. Но и ты, наверное, обратил внимание на то, что Райтинг с самого начала всячески заступался за Базини. Ты ведь был тогда совершенно прав: действительно, естественней всего было бы, если бы этот малый вылетел. Но я тогда нарочно не поддержал тебя, потому что подумал: надо поглядеть, что тут еще замешано. Я и правда точно не знаю, были ли у него вполне ясные намерения уже тогда или он только хотел подождать, когда Базини будет у него в руках раз навсегда. Во всяком случае, я знаю, как обстоит дело сегодня.

— Ну?

— Погоди, это так быстро не расскажешь. Ты же знаешь историю, которая случилась в училище четыре года назад?

— Какую историю?

— Ну, ту самую!

— Очень приблизительно. Знаю только, что тогда из-за каких-то гадостей разразился скандал и многих в наказание выгнали.

— Да, это я и имею в виду. Подробности я узнал как-то на каникулах от одного человека из того класса. У них был один смазливый мальчишка, в которого многие из них были влюблены. Ты же знаешь это, ведь такое случается каждый год. Но они зашли тогда слишком далеко.

— Как?

— Ну... как?! Не задавай таких глупых вопросов! И то же самое делает Райтинг с Базини!

Тёрлес понял, что происходило между теми двумя, и у него запершило в горле, словно там был песок.

— Никак не ожидал этого от Райтинга.

Он не нашел ничего лучшего, чем эти слова. Байнеберг пожал плечами.

— Он думает, что может обманывать нас.

— Он влюблен?

— Нисколько. Не такой он дурак. Это его развлекает, ну, может быть, возбуждает.

— А Базини?

— Этот-то?... Ты не замечал, как он обнаглел в последнее время? Меня он и слушать уже не хочет. Только и знает: Райтинг да Райтинг, словно тот его личный святойзаступник. Лучше, решил он, наверное, терпеть все от одного, чем что-то от каждого. А Райтинг, конечно, обещал ему защищать его, если тот будет подчиняться ему во всем. Но они просчитались, и я еще проучу Базини.

— Как ты узнал это?

— Я один раз пошел за ними.

— Куда?

— На чердак, тут рядом. Райтинг взял у меня ключ от другого входа. Тогда я пришел сюда, осторожно открыл дыру и прокрался к ним.

В тонкой стенке-перегородке, отделявшей эту каморку от чердака, был пробит лаз как раз такой ширины, чтобы мог протиснуться человек. Это отверстие должно было служить на случай тревоги запасным выходом и обычно закладывалось кирпичами.

Наступила длинная пауза, во время которой слышно было только, как тлеет табак.

Тёрлес был неспособен думать; он видел... Он вдруг увидел за своими закрытыми глазами какое-то неистовое коловращение событий... людей; людей в резком освещении, с яркими пятнами света и подвижными, глубоко вкопанными тенями; лица... лицо; улыбка. Взмах ресниц. Трепет кожи; он увидел людей такими, какими никогда еще не видел, никогда еще не ощущал их. Но видел он их не видя, без образов, без картин; так, словно видела их только его душа; они были так отчетливы, что его тысячекратно пронзала их убедительность, но, словно останавливаясь на неодолимом пороге, они отступали, как только он искал слова, чтобы овладеть ими.

Он должен был спрашивать дальше. Его голос дрожал.

— И ты видел?

— Да.

— А... каков был Базини?

Но Байнеберг промолчал, и снова слышно было лишь беспокойное шуршанье папирос. Не скоро заговорил Байнеберг снова:

— Я обдумал это дело со всех сторон, а ты знаешь, что в таких вещах я смыслю. Что касается Базини, то его, я полагаю, жаль не будет ни в каком случае. Выдадим ли мы его, поколотим ли или даже удовольствия ради замучим до смерти. Ведь я не могу представить

себе, чтобы в замечательном мировом механизме такой человек что-либо значил. Он мне кажется созданным чисто случайно, вне ряда. То есть он, вероятно, должен что-то значить, но наверняка что-то столь же неопределенное, как какой-нибудь червяк или камешек на дороге, о котором мы не знаем, пройти ли нам мимо него или его растоптать. А это все равно что ничего. Ведь если мировая душа хочет, чтобы одна из ее частей осталась в сохранности, она выражается яснее. Тогда она говорит «нет» и оказывает сопротивление, она заставляет нас пройти мимо червя, а камню придает такую твердость, что без инструмента мы его не можем разбить. Ведь прежде чем мы принесем инструмент, она окажет противодействие множеством мелких, упрямых сомнений, а если мы преодолеем и их, то, значит, дело это с самого начала имело другое значение.

У человека она эту твердость закладывает в его характер, в его сознание, что он человек, в его чувство ответственности за то, что он часть мировой души. Потеряв это сознание, человек теряет самого себя. А потеряв самого себя и от себя отказавшись, человек теряет то особенное, то существенное, ради чего природа создала его человеком. И никогда нельзя быть так уверенным, как в этом случае, что имеешь дело с чем-то ненужным, с пустой формой, с чем-то, давно покинутым мировой душой.

Тёрлес не почувствовал противоречия. Да и слушал он довольно-таки невнимательно. До сих пор у него не было повода для таких метафизических размышлений, и он никогда не задумывался о том, как человеку с байнеберговским умом могло подобное прийти в голову. Весь этот вопрос вообще не возникал еще на горизонте его жизни.

Потому он и не силился проверять смысл байнеберговских рассуждений; он слушал их вполуха.

Он только не понимал, как можно так размахиваться. В нем все дрожало, и дотошность, с какой Байнеберг притаскивал свои мысли бог весть куда, казалась ему смешной, неуместной, вызывала у него нетерпение. Но Байнеберг спокойно продолжал:

— С Райтингом же дело обстоит совершенно иначе. Он тоже в руках у меня из-за своего поступка, но его судьба мне, конечно, не так безразлична, как судьба Базини. Ты знаешь, состояние у его матери небольшое. Если его исключат из училища, на всех его планах надо поставить крест. Отсюда он может достичь чего-то, а так возможностей для этого у него будем немного. И Райтинг меня никогда не любил... понимаешь?... он ненавидел меня... пытался прежде вредить мне где только мог... думаю, он и сегодня был бы рад избавиться от меня. Видишь теперь, чего я только не смогу сделать, обладая этой тайной?..

Тёрлес испугался. Но так странно, словно судьба Райтинга касалась его самого. Он испуганно посмотрел на Байнеберга. Тот прищурил глаза, превратив их в щелки, и показался ему жутким, большим пауком в паутине, спокойно подстерегающим свою жертву. Последние его слова звучали в ушах Тёрлеса холодно и отчетливо, как фразы диктанта.

Он не вникал в предшествовавшее, он знал только: теперь Байнеберг опять говорит о своих идеях, которые к данному случаю никакого отношения не имеют... И вот он уже не понимал, как это вышло.

Ткань, тянувшаяся откуда-то извне, из отвлеченного, наверно, вдруг с невероятной скоростью сжалась. Ибо вдруг она стала конкретной, реальной, живой, и в ней дергалась голова... с затянутой на горле петлей.

Он отнюдь не любил Райтинга, но он вспомнил сейчас милую, дерзкую беззаботность, с которой тот затевал всякие интриги, и Байнеберг, спокойно и с ухмылкой стягивавший вокруг того свои многосложные, серые, отвратительные хитросплетения, показался ему по контрасту гнусным.

Непроизвольно Тёрлес прикрикнул на него:

— Ты не смеешь использовать это против него.

Сыграло роль, вероятно, и его всегдашнее тайное отвращение к Байнебергу.

Но Байнеберг сам сказал, поразмыслив:

— Да и зачем?! Его было бы действительно жаль. Мне он отныне и так не опасен, а он все-таки человек слишком стоящий, чтобы дать ему споткнуться на такой глупости.

Так было покончено с этой частью дела. Но Байнеберг продолжал говорить, вновь обратившись теперь к судьбе Базини:

— Ты все еще полагаешь, что мы должны выдать Базини?

Но Тёрлес не ответил. Он хотел послушать Байнеберга, чьи слова звучали для него как гул шагов над полостью подкопа, и он хотел насладиться этим состоянием.

Байнеберг продолжал излагать свои мысли:

— Я думаю, мы пока сохраним его для себя и накажем сами. Ведь наказать его нужно хотя бы уже за его наглость. Начальство его самое большее исключило бы и написало бы в придачу длинное письмо его дяде. Ты ведь примерно знаешь, как это делается официально. Ваше превосходительство, Ваш племянник потерял самообладание... сбился с пути... возвращаем его Вам... надеемся, что Вам удастся... путь исправления... пока, однако, невозможно среди других... и т. д. Разве такой случай представляет для них интерес или ценность?

— А какая в нем ценность для нас?

— Какая ценность? Для тебя, может быть, никакой, ибо ты станешь когда-нибудь надворным советником или будешь писать стихи — тебе это, в общем, не нужно, ты, может быть, даже боишься этого. Но свою жизнь я представляю себе иначе.

На этот раз Тёрлес прислушался.

— Для меня Базини имеет ценность — даже очень большую. Понимаешь — ты просто отпустил бы его на все четыре стороны и вполне успокоился бы на том, что он — скверный человек. — Тёрлес подавил улыбку. — На этом ты ставишь точку, потому что у тебя нет ни таланта, ни интереса учиться на таком деле. А у меня этот интерес есть. Когда человеку предстоит мой путь, надо смотреть на людей совершенно иначе. Поэтому я хочу Базини сохранить для себя, чтобы на нем поучиться.

— Но как ты собираешься его наказать?

Байнеберг мгновение помешкал с ответом, словно обдумывал ожидаемый эффект. Затем он сказал осторожно и замедленно:

— Ты ошибаешься, если думаешь, что мне так важно наказать. Правда, в конечном счете это тоже можно будет назвать наказанием для него... но, чтобы не рассусоливать, я задумал нечто другое, я хочу... ну, скажем... помучить его.

Тёрлес поостерегся сказать что-либо. Он еще ясно не видел, но чувствовал, что все это выходит так, как и должно было — внутренне — для него выйти. Байнеберг, не узнав, какое действие оказали его слова, продолжал:

— Не пугайся, не так это страшно. Ведь прежде всего, как я тебе объяснил, с Базини считаться не надо. Решение мучить его или пощадить зависит только от нашей потребности в том или в другом. От внутренних причин. У тебя они есть? Все, что ты говорил тогда насчет морали, общества и так далее, конечно, не в счет. Надеюсь, ты и сам в это не верил. Ты, значит, надо полагать, индифферентен. Но все же ты можешь еще отстраниться от всего этого, если не хочешь ничем рисковать.

Мой путь, однако, ведет не назад и не мимо, а в самую точку. Так надо. Райтинг тоже не отступится, ибо и для него это особенно ценно — иметь кого-то целиком в своей власти и упражняться, обращаясь с ним, как с орудием. Он хочет властвовать, и с тобой он поступил бы в точности так же, как с Базини, если бы дело случайно коснулось тебя. Для меня же речь идет о еще большем. Почти об обязанности перед самим собой. Как бы мне объяснить тебе эту разницу между нами? Ты знаешь, как почитает Райтинг Наполеона; так вот, человек, который мне нравится больше всех, скорее походит на какого-нибудь философа, какого-нибудь индийского святого. Райтинг принес бы Базини в жертву и не испытал бы при этом ничего, кроме интереса. Он раскромсал бы его нравственно, чтобы узнать, к чему нужно быть готовым при таком предприятии. И, как я уже сказал, тебя или меня в точности так же, как Базини, без всяких переживаний. А у меня, как и у тебя, есть определенное ощущение, что и Базини в конце концов человек. Совершаемая жестокость оставляет какую-то рану и во мне тоже. Но как раз об этом и идет речь! Поистине о жертве! Понимаешь, я тоже связан

двумя нитями. Той первой, неопределенной, что вопреки моему ясному убеждению привязывает меня к сочувственному бездействию, но и второй, уходящей к моей душе, к сокровенному опыту и привязывающей меня к космосу. Такие люди, как Базини, говорил я тебе уже раньше, ничего не значат — это пустая, случайная форма. Настоящие люди — это лишь те, что могут проникнуть в самих себя, космические люди, которые в состоянии погрузиться в глубины своей связи с великим вселенским процессом. Закрыв глаза, они творят чудеса, потому что умеют пользоваться всей силой мира, которая точно так же внутри их, как и вне их. Но все люди, следовавшие до этих глубин за второй нитью, должны были прежде порвать первую. Я читал об ужасных искупительных жертвах просветленных монахов, да и тебе не совсем неведомы средства индийских святых. Все жестокие вещи, при этом творящиеся, имеют одну лишь цель — умертвить жалкие, направленные вовне желания, ибо все они, будь то тщеславие, голод, радость или сочувствие, только уводят от того огня, который каждый способен в себе пробудить.

Райтинг знает лишь внешнее, я же следую за второй нитью. Сейчас у него, на взгляд каждого, преимущество, ибо мой путь медленнее и надежнее. Но я могу одним махом обогнать его, как какого-нибудь червя. Понимаешь, утверждают, будто мир управляется механическими законами, которые нельзя изменить... Это совершенно неверно, это сказано только в учебниках! Внешний мир, действительно, упрям, и повлиять на его так называемые законы до какой-то степени нельзя, но все же бывали на свете люди, которым этом удавалось. Это сказано в священных, не раз проверенных книгах, о которых большинство просто не знает. Оттуда я знаю, что бывали на свете люди, которые могли одним лишь усилием воли приводить в движение камни, воздух и воду, люди, перед чьей молитвой не могла устоять никакая земная сила. Но и это лишь внешние триумфы духа. Ибо для того, кому вполне удастся увидеть свою душу, исчезает его телесная жизнь, которая только случайна; в книгах сказано, что такие люди входили прямо в высшее царство души.

Байнеберг говорил совершенно серьезно, сдерживая волнение. Тёрлес все еще почти не раскрывал глаз; он чувствовал, как до него долетает дыхание Байнеберга, и впивал его как удушливый наркотик. Между тем Байнеберг заканчивал свою речь:

— Теперь тебе ясно, о чем для меня идет речь. То, что внушает мне отпустить Базини, идет от низменного, внешнего. Ты можешь этому подчиниться. Для меня это предрассудок, от которого я должен избавиться, как и от всего, что сбивает меня с пути к моей внутренней сути.

Что мне будет трудно мучить Базини — то есть унижить его, подавить, отдалить от себя, — это как раз и хорошо. Это потребует жертвы. Это подействует очищающе. Я обязан перед собой ежедневно постигать на его примере, что сама по себе принадлежность к роду человеческому решительно ничего не значит — это просто дурачащее, внешнее сходство.

Тёрлес понял не все. Только у него снова возникло ощущение, что какая-то невидимая петля вдруг стянулась в осязаемый, смертельный узел. В нем отдавались эхом последние слова Байнеберга. «Просто дурачащее, внешнее сходство», — повторял он про себя. Это как будто подходило и к его отношению к Базини. Не в таких ли видениях состояло странное очарование, которое от того исходило? Не в том ли просто, что он, Тёрлес, не мог вдуматься в него и потому всегда видел его в каких-то неопределенных обликах? Не маячило ли, когда он только что представил себе Базини, за его, Базини, лицом второе, расплывчатое? Осязаемо похожее, хотя это сходство ни на чем не основывалось?

Вот почему, вместо того чтобы задуматься о крайне странных намерениях Байнеберга, Тёрлес, полуоглушенный новыми, необыкновенными впечатлениями, пытался разобраться в себе. Он вспомнил вечер, перед тем как узнал о проступке Базини. Уже тогда, собственно, эти видения были. Всегда бывало что-то, с чем его мысли не могли справиться. Что-то, казавшееся очень простым и очень неведомым. Он видел картины, которые, однако, картинами не были. У тех лачуг, и даже тогда, когда он сидел с Байнебергом в кондитерской.

Везде было сходство и в то же время непреодолимое несходство. И эта игра, эта тайна, совершенно личная перспектива его волновала.

И сейчас один человек присвоил себе это. Все это сейчас воплотилось, стало реальным в одном человеке. Тем самым вся эта странность перешла на этого человека. Тем самым она вышла из фантазии в жизнь и стала опасной.

Волнения эти утомили Тёрлеса, его мысли цеплялись друг за друга уже некрепко.

У него только и осталось в памяти, что он не должен выпускать этого Базини, что тому назначено сыграть какую-то важную и уже неясно осознанную роль и для него.

Среди этих мыслей он удивленно качал головой, когда думал о словах Байнеберга. Он тоже?..

Не может же он искать того же, что я, и все-таки верное обозначение этому нашел именно он...

Тёрлес больше мечтал, чем думал. Он уже не был в состоянии отличить свою психологическую проблему от фантазий Байнеберга. У него было в итоге только одно чувство — что вокруг все ту же затягивается огромная петля.

Разговор дальше не шел. Они погасили свет и осторожно пробрались назад в дортуар.

Следующие дни никакого решения не принесли. В школе было много дел, Райтинг осторожно избегал оставаться в одиночестве, да и Байнеберг уклонялся от возобновления разговора.

Так в эти дни получилось, что случившееся, как прегражденный поток, глубже впиталось в Тёрлеса и дало его мыслям направление, изменить которое уже нельзя было.

Намерение удалить Базини ушло поэтому окончательно. Тёрлес теперь впервые чувствовал сосредоточенность целиком на себе самом и уже ни о чем другом не в силах был думать. Божена тоже стала ему безразлична, прежние его чувства к ней стали для него фантастическим воспоминанием, на место которого пришло теперь что-то серьезное.

Правда, это серьезное казалось не менее фантастическим.

Занятый своими мыслями, Тёрлес в одиночестве вышел погулять в парк. Время было полуденное, и солнце поздней осени ложилось бледными воспоминаниями на лужайки и дорожки. Не имея из-за своего беспокойства охоты до дальних прогулок, Тёрлес просто обошел здание и у подножия почти глухой боковой стены бросился в жухлую, шуршащую траву. Над ним простиралось небо сплошь той блеклой болезненной голубизны, что свойственно осени, и по нему неслись маленькие, белые, густые облачка.

Тёрлес долго лежал, вытянувшись на спине, и, жмурясь, рассеяннo-мечтательно глядел в пространство между оголяющимися верхушками двух стоявших перед ним деревьев.

Он думал о Байнеберге; какой это странный, однако, человек! Его слова были бы уместны в каком-нибудь ветшающем индийском храме, среди жутковатых идолов и колдовских змей в глубоких укрытиях; но к чему они днем, в интернате, в современной Европе? И все же, после того как эти слова целую вечность тянулись бесконечной, неоглядной, с тысячами извилин дорогой, казалось, что они вдруг вышли к осязаемой цели...

И вдруг он заметил — и у него было такое чувство, что это случилось впервые, — как, в сущности, высоко небо.

Это было как испуг. Как раз над ним светился маленький голубой, невыразимо глубокий зазор между облаками.

У него было такое чувство, что туда можно взобраться по длинной-длинной лестнице. Но чем дальше он проникал туда, поднимаясь глазами, тем глубже отступал голубой, светящийся грунт. И все же казалось, что его можно достичь и задержать взглядом. Это желание стало мучительно сильным.

Казалось, донельзя напряженное зрение метало, как стрелы, взгляды в просвет между облаками, и как бы далеко оно ни метило, всегда выходил маленький недолет.

Об этом Тёрлес и задумался; он старался оставаться как можно спокойнее и разумнее. «Конечно, конца нет, — говорил он себе, — так оно и уходит все дальше, дальше и дальше, в бесконечность». Он не спускал глаз с неба и повторял это про себя, словно надо было испытать силу какой-то формулы заклинания. Но безуспешно; слова ничего не выражали, или, вернее, выражали что-то совсем другое, словно говорили хоть и о том же предмете, но о

какой-то другой, неведомой, безразличной стороне.

«Бесконечность»! Тёрлес знал это слово по курсу математики. Он никогда не представлял себе за этим ничего особенного. Оно то и дело повторялось: кто-то когда-то его изобрел, и с тех пор с его помощью можно производить вычисления так же надежно, как с помощью чего-то твердого. Оно было тем, что оно значило при вычислении; а сверх того Тёрлес никогда ничего не искал.

И тут его словно молнией пронзило чувство, что в этом слове есть что-то до ужаса успокоительное. Оно предстало ему укрощенным понятием, с которым он ежедневно проделывал свои маленькие фокусы и с которого вдруг спали оковы. Что-то, выходящее за пределы разума, дикое, разрушительное было, казалось, усыплено работой каких-то изобретателей, а сейчас вдруг проснулось и стало опять ужасным. В этом вот небе оно вживе стояло над ним, и угрожало, и издевалось.

Наконец он закрыл глаза, потому что это зрелище было для него мукой.

Когда его вскоре, прошуршав по увядшей траве, разбудил порыв ветра, он почти не чувствовал своего тела, а от ног вверх текла приятная прохлада, удерживавшая его члены в состоянии сладостной лени. К его прежнему испугу прибавилось теперь что-то мягкое и усталое. Он все еще чувствовал, как на него глядит огромное и молчаливое небо, но он вспомнил теперь, сколь часто бывало у него уже раньше подобное ощущение, и, словно между бодрствованием и сном, он перебирал эти воспоминания и чувствовал себя оплетенным их связями.

Тут было прежде всего то воспоминание детства, в котором деревья стояли строго и молчаливо, как заколдованные люди. Уже тогда он, видимо, ощутил то, что всегда возвращалось позже. Даже в тех мыслях у Божены было что-то от этого, что-то особое, вещее, большее, чем их значение. И то мгновение тишины в саду перед окнами кондитерской, прежде чем опустились темные покрывала чувственности, было таким. И часто Байнеберг с Райтингом на какой-то миг становились чем-то чужим и нереальным; и, наконец, Базини? Мысль о происходившем с Базини совсем разорвала Тёрлеса надвое; она была то разумной и обыденной, то полной того пронизанного образами безмолвия, которое было общим для всех этих ощущений, которое мало-помалу просачивалось в восприятие Тёрлеса и теперь вдруг потребовало, чтобы к нему, безмолвию, относились как к чему-то реальному, живому; точно так же, как прежде мысль о бесконечности.

Тёрлес почувствовал, что оно охватило его со всех сторон. Как далекие, темные силы, оно грозило уже с давних пор, но он инстинктивно отступал и лишь время от времени касался этого робким взглядом. А теперь какой-то случай, какое-то событие заострили его внимание и на это направили, и теперь, словно по какому-то мановению, это врывалось со всех сторон; нагоняя с собой огромное смятение, которое каждый миг по-новому распространял дальше.

Это накатило на Тёрлеса, словно безумие — ощущать вещи, явления и людей как что-то двусмысленное. Как что-то, силой каких-то изобретателей привязанное к безобидному, объясняющему слову, и как что-то совершенно неведомое, грозящее оторваться от него в любое мгновение.

Конечно — на все есть простое, естественное объяснение, и Тёрлесу оно тоже было известно, но, к его пугливому изумлению, оно, казалось ему, срывало лишь самую внешнюю оболочку, не обнажая сути, которую Тёрлес, словно сверхъестественным зрением, всегда видел мерцающей под этой поверхностью.

Так лежал Тёрлес, весь оплетенный воспоминаниями, из которых неведомыми цветами вырастали странные мысли. Те мгновения, которых никто не забывает, ситуации, где кончается та связь, благодаря которой обычно наша жизнь без пробелов отражается в нашем разуме, словно жизнь и разум текут рядом, параллельно и с одинаковой скоростью — они сомкнулись друг с другом смущающе плотно.

Воспоминание об ужасно тихом, печальном по краскам безмолвию иных вечеров сменилось внезапно жарким, дрожащим беспокойством летнего дня, которое однажды

обожгло ему душу, словно по ней прошмыгнула стая переливчатых ящериц.

Затем ему вспомнилась улыбка того маленького князя... взгляд... движение... — тогда, когда они внутренне покончили друг с другом, — какими тот разом и мягко освободился от всего, чем связывал его Тёрлес, и, освободившись, уходил в новую, неведомую даль, которая — словно сжавшись в жизнь одной неопишуемой секунды — неожиданно открылась ему. Здесь снова пришли воспоминания о лесе — среди полей. Затем молчаливая картина в темнеющей комнате дома, позднее напомнившая ему вдруг потерянного друга. Вспомнились слова какого-то стихотворения...

Есть и другие вещи, где между ощущением и пониманием царит эта несопоставимость. Всегда, однако, то, что в какой-то миг узнается нами безучастно и без вопросов, становится непонятным и запутанным, когда мы пытаемся цепью мыслей скрепить это и сделать прочным своим достоянием. И то, что выглядит великим и нечеловечным, пока наши слова тянутся к этому издалека, становится простым и теряет что-то беспокоящее, как только оно входит в наше бытие.

И у всех этих воспоминаний оказалась поэтому вдруг одна и та же общая тайна. Словно составляя одно целое, они встали перед ним до осязаемости отчетливо.

В свое время их сопровождало какое-то темное чувство, на которое он прежде не очень-то обращал внимание.

Именно оно заботило его теперь. Ему вспомнилось, как он, стоя с отцом перед одним из тех пейзажей, внезапно воскликнул: о, как красиво! — и смутился, когда отец обрадовался. Ибо он с таким же правом мог сказать: ужасно грустно. Мучили его тогда несостоятельность слова, полусознание, что слова лишь случайные лазейки для прочувствованного.

И сегодня он вспомнил ту картину, вспомнил те слова и ясно вспомнил то чувство, что лгал, хоть и не знал почему. В воспоминании взгляд его снова проходил через все. Но вновь и вновь возвращался, не находя освобождения. Улыбка восхищения богатством наитий, которую он все еще как бы рассеянно сохранял, медленно приобрела чуть заметную тень страдания...

У него была потребность из всех сил искать какой-то мост, какую-то связь, какое-то сравнение — между собою и тем, что без слов стояло перед его внутренним взором.

Но как только он успокаивался на какой-нибудь мысли, снова возникало это непонятное возражение: ты лжешь. Словно ему нужно было непрестанно производить деление, при котором снова и снова получался упорный остаток или словно он в кровь стирал трясущиеся пальцы, чтобы развязать бесконечный узел.

И наконец он отступился. Вокруг него что-то плотно смыкалось, и воспоминания стали расти в неестественном искажении.

Он снова направил глаза на небо. Словно вдруг еще удалось бы случайно вырвать у неба свою тайну и угадать по нему, что его, Тёрлеса, везде приводит в смятение. Но он устал, и чувство глубокого одиночества сомкнулось над ним. Небо молчало. И Тёрлес почувствовал, что под этим неподвижным, немым сводом он совершенно один, он почувствовал себя крошечной живой точкой под этим огромным, прозрачным трупом.

Но это уже не испугало его. Как старая, давно знакомая боль, это проникло наконец-то и в последний уголок тела.

Ему казалось, будто свет приобрел молочный блеск и плясал у него перед глазами, как бледный холодный туман.

Он медленно и осторожно повернул голову и огляделся — действительно ли все изменилось. Тут его взгляд случайно скользнул по серой глухой стене, стоявшей у него в изголовье. Она словно бы склонилась над ним и молча глядела на него. Время от времени вниз сыпались, журча, тонкие струйки, и в стене пробуждалась жутковатая жизнь.

Он часто прислушивался к ней в укрытии, когда Байнеберг и Райтинг разворачивали свой фантастический мир, и он радовался ей, как странному музыкальному сопровождению какого-то гротескного спектакля.

Но сейчас ясный день сам, казалось, превратился в бездонное укрытие, и живое молчание окружило Тёрлеса со всех сторон.

Он не в силах был отвернуть голову. Рядом с ним, во влажном темном углу буйно росла мать-и-мачеха, выстраивая из своих широких листьев фантастические укрытия для улиток и червяков. Тёрлес слышал, как бьется у него сердце. Затем опять повторилось тихое, шепчущее, сякнущее журчанье... И эти шорохи были единственно живым в не связанном ни с каким временем безмолвном мире...

На следующий день Байнеберг стоял с Райтингом, когда к ним подошел Тёрлес.

— Я уже поговорил с Райтингом, — сказал Байнеберг, — и обо всем договорился. Ты ведь не очень-то интересуешься такими делами.

Тёрлес почувствовал, как в нем поднимается что-то вроде злости и ревности из-за этого внезапного поворота, но он не знал, следует ли ему упоминать в присутствии Райтинга о том ночном разговоре.

— Ну, вы могли бы хотя бы позвать меня, раз уж я так же, как и вы, участвую в этом деле.

— Мы так и сделали бы, дорогой Тёрлес, — заторопился Райтинг, которому на этот раз явно хотелось не создавать ненужных трудностей, — но тебя нигде не было видно, а мы рассчитывали на твое согласие. Что скажешь, кстати, по поводу Базини?

(Ни слова в свое оправдание, словно его собственное поведение было чем-то само собой разумеющимся.)

— Что скажу? Ну, он мерзавец, — ответил Тёрлес смущенно.

— Правда ведь? Ужасно мерзок.

— Но и ты тоже влезаешь в славные дела!

И Тёрлес улыбнулся несколько вымученно, стыдясь, что злится на Райтинга не так сильно.

— Я? — Райтинг пожал плечами. — Что тут такого? Надо все испытать, и если уж он так глуп и подл...

— Ты-то с тех пор уже говорил с ним? — вмешался Байнеберг.

— Да, он вчера приходил ко мне вечером и просил денег, поскольку снова наделал долгов, а уплатить нечем.

— Ты уже дал ему денег?

— Нет еще.

— Это очень хорошо, — сказал Байнеберг, — теперь у нас есть искомая возможность разделиться с ним. Ты мог бы велеть ему прийти куда-нибудь сегодня вечером.

— Куда? В нашу клетушку?

— Думаю — нет, о ней ему пока незачем знать. Прикажи ему явиться на чердак, где ты был с ним тогда.

— В котором часу?

— Скажем... в одиннадцать.

— Хорошо... Хочешь еще немного погулять?

— Да. У Тёрлеса, наверное, есть еще дела, правда? Никакой работы у Тёрлеса больше не было, но он чувствовал, что у обоих есть еще что-то общее, что они хотят утаить от него. Он досадовал на свою чопорность, не позволявшую ему вклиниться.

И вот он ревниво смотрел им вслед, представляя себе всякое, о чем они могли, наверно, втайне договориться.

При этом ему бросилось в глаза, до чего невинна и мила прямая, гибкая походка Райтинга — совершенно так же, как и его слова. И в противовес этому он попытался представить себе его таким, каким он должен был быть в тот вечер; внутреннюю, психологическую сторону этого. Это было, наверно, долгое, медленное падение двух вцепившихся друг в друга душ и затем бездна как в подземном царстве. А в промежутке — миг, когда наверху, далеко наверху, умолкли и замерли все звуки мира.

Неужели после чего-то подобного человек снова может быть таким довольным и

легким? Наверняка это не так уж много для него значило. Тёрлесу очень хотелось спросить его. А вместо того он в детской робости отдал его этому паукообразному Байнебергу!

Без четверти одиннадцать Тёрлес увидел, что Байнеберг и Райтинг вышмыгнули из постели, и тоже оделся.

— Тсс!.. погоди. Заметят ведь, если мы уйдем сразу все трое.

Тёрлес снова спрятался под одеяло. Затем в коридоре они соединились и с привычной осторожностью стали подниматься на чердак.

— Где Базини? — спросил Тёрлес.

— Он придет с другой стороны. Райтинг дал ему ключ оттуда.

Они все время оставались в темноте. Лишь наверху перед большой железной дверью Байнеберг зажег свой потайной фонарик.

Замок сопротивлялся. Из-за многолетнего бездействия его заело, и он не слушался подобранного ключа. Наконец он отомкнулся с резким звуком; тяжелая створка терлась, застревая, о ржавчину петель и подавалась медленно.

С чердака потянуло теплым, застоявшимся воздухом, как из теплицы.

Байнеберг запер дверь снова.

Они спустились по маленькой деревянной лестнице и сели, скорчившись, возле мощной поперечной балки.

Рядом с ними стояли огромные бочки с водой, предназначенной для тушения пожара. Воду в них явно давно уже не меняли, и она издавала сладковатый запах.

Вообще все окружение было крайне удручающее. Жара под крышей, скверный воздух и лабиринт мощных балок, которые частью уходили наверх и терялись в темноте, частью расплзались понизу таинственной сетью.

Байнеберг затемнил фонарик, и они, не говоря ни слова, неподвижно сидели во мраке — в течение нескольких долгих минут.

Тут в темноте на противоположном конце скрипнула дверь. Тихо и нерешительно. Это был шум, от которого забилося, запрыгало сердце, как от первого звука приближающейся добычи.

Последовали неуверенные шаги, удар ноги о загудевшее дерево; глухой шум, как от толчка тела... Тишина... Затем снова нерешительные шаги... Ожидание... Тихий человеческий звук...

— Райтинг?

Тут Байнеберг снял колпачок с фонарика и метнул широкий луч к тому месту, откуда донесся голос.

Несколько мощных балок высветились с резкими тенями, дальше ничего, кроме конуса пляшущих пылинок, не было видно.

Но шаги стали увереннее и приближались.

Тут — совсем близко — снова ударила о дерево нога, и в следующий миг в широком основании светового конуса возникло — пепельно-бледное — при этом неверном освещении — лицо Базини.

Базини улыбался. Ласково, мило. Застыв, как на портрете, улыбка его выступала за рамку света.

Тёрлес сидел, прижавшись к балке, и чувствовал, как у него дрожат глазные мышцы.

Байнеберг стал перечислять позорные поступки Базини; однотонно, хриплыми словами.

Затем вопрос:

— Значит, тебе несколько не стыдно?

Затем взгляд Базини на Райтинга, говоривший, казалось: «Пора тебе, пожалуй, помочь мне». И в тот же миг Райтинг ударил его кулаком в лицо, так что тот качнулся назад, споткнулся о балку, упал. Байнеберг и Райтинг прыгнули к нему.

Фонарик опрокинулся, и свет бессмысленно и вяло тек по полу к ногам Тёрлеса.

По звукам Тёрлес понял, что они сорвали с Базини одежду и хлестали его чем-то

тонким, гибким. Они явно все это уже подготовили. Он слышал хныканье и негромкие жалобы Базини, который, не переставая, молил пощадить его; наконец он слышал лишь стоны, похожие на сдавленные вопли, а в промежутках негромкие ругательства и горячее, страстное дыхание Байнеберга.

Он не тронулся с места. В самом начале его, правда, охватило животное желание прыгнуть туда и бить, но чувство, что он опоздает и будет лишним, удержало его. На его членах лежала тяжелая рука скованности.

С виду безучастно смотрел он в пол. Он не напрягал слуха, чтобы разбирать звуки, и не чувствовал, чтобы его сердце било быстрее обычного. Он уставился в лужицу света, разлившуюся у его ног. Светились пылинки и маленькая безобразная паутина. Дальше свет просачивался в зазоры между балками и задышался в пыльном, грязном сумраке.

Тёрлес сидел бы так и час, ничего не чувствуя. Он ни о чем не думал и все же был внутренне предельно занят. При этом он сам наблюдал за собой. Но так, словно, в сущности, глядел в пустоту и видел себя только как бы нечетким пятном и со стороны. Однако из этой неясности — со стороны — в отчетливое сознание медленно, но все явственнее проталкивалась одна потребность.

Что-то заставило Тёрлеса улыбнуться по этому поводу. Затем эта потребность снова усилилась. Она согнала его со своего места вниз — на колени, на пол. Его тянуло прижаться телом к половицам; он чувствовал, что глаза его делаются большими, как рыбы, он чувствовал, как сквозь голое тело бьется о дерево его сердце.

Теперь в Тёрлесе действительно все кипело, и он должен был ухватиться за балку, чтобы не поддаться головокружению, тянувшему его вниз.

На лбу его выступили капли пота, и он испуганно спрашивал себя, что все это значит.

Выведенный из своего безразличия, он снова теперь прислушался сквозь темноту к тем троим.

Там стало тихо, только Базини жалобно бормотал что-то, ощупью ища свою одежду.

Тёрлес почувствовал какую-то приятность в этих жалобных звуках.словно паучьими лапками пробежала у него по спине дрожь вверх и вниз; застряла между лопатками и коготками оттянула назад кожу на голове. К своему изумлению, Тёрлес понял, что находится в состоянии полового возбуждения. Он стал вспоминать и, не вспомнив, когда оно наступило, припомнил, что оно уже сопровождалось странной потребностью прижаться к полу. Он устыдился этого; но словно мощной волной крови это ударило ему в голову.

Байнеберг и Райтинг ощупью пробрались назад и молча сели с ним рядом. Байнеберг посмотрел на фонарик.

В этот миг Тёрлеса опять потянуло вниз. От глаз — он чувствовал это теперь, — от глаз шло к мозгу как бы гипнотическое оцепенение. То был какой-то вопрос, да, какой-то... нет, какое-то отчаяние... о, ведь это было знакомо ему... стена, тот общественный сад, низкие лачуги, то воспоминание детства... то же самое! то же самое! Он посмотрел на Байнеберга. «Неужели этот ничего не чувствует?» — подумал он. Но Байнеберг нагibalся, чтобы поднять фонарик. Тёрлес задержал его руку.

— Разве не похоже это на глаз? — сказал он, указывая на растекшийся на полу свет.

— Ты что, настроился на поэтический лад?

— Нет. Но разве ты сам не говорил, что с глазами дело обстоит особо? От них иногда — вспомни любимые свои идеи насчет гипноза — исходит какая-то сила, которой не встретишь ни в каком курсе физики... Несомненно также, что по глазам человека часто узнаешь куда лучше, чем по его речам...

— Ну... и что?

— Для меня этот свет как глаз. Глядящий в неведомый мир. У меня такое чувство, будто я должен что-то отгадать. Но я не могу. Мне хочется вобрать это в себя...

— Ну... тебя все-таки тянет на поэзию.

— Нет, я всерьез. Я в полном отчаянии. Вдумайся только, и ты тоже это почувствуешь. Потребность повалиться в этой луже... на четвереньках, совсем вплотную к ней, проползти в

пыльные углы, словно так это можно отгадать...

— Дорогой мой, баловство, сантименты. Оставь сейчас, пожалуйста, такие вещи.

Байнеберг наконец нагнулся и поставил фонарик на место. А Тёрлес злорадствовал. У него было такое ощущение, что он вобрал в себя эти события одним чувством больше, чем его спутники.

Он ждал сейчас появления Базини и с тайным трепетом чувствовал, что кожа на голове опять напряглась под коготками.

Он ведь уже совсем точно знал, что для него что-то приберегается, и вновь и вновь и через все более короткие промежутки напоминало ему о себе; ощущение это, другим непонятное, было явно очень важно для его жизни...

Только вот что означала здесь эта чувственность, он не знал, но помнил, что она появлялась каждый раз, когда события представляли странными только ему и мучили его, потому что он не знал, в чем тут причина.

И он решил при следующем случае серьезно обдумать это. Пока же он целиком отдался возбуждающему трепету, который предшествовал появлению Базини.

Байнеберг установил фонарик, и лучи снова вырезали в темноте круг, как пустую рамку.

И вдруг в этой рамке снова оказалось лицо Базини; точно так же, как в первый раз, с той же застывшей, слащавой улыбкой; словно в промежутке ничего не случилось, только по его верхней губе, рту и подбородку прочерчивали извилистую, как червяк, дорожку медленные капли крови.

— Сядь там! — Райтинг указал на мощную балку. Базини повиновался. Райтинг начал говорить:

— Ты уже, наверно, думал, что дешево отделался, да? Думал, вероятно, я помогу тебе? Ну, так ты ошибся. То, что я с тобой делал, я делал, только чтобы посмотреть, до чего дойдет твоя подлость.

Базини сделал протестующее движение. Райтинг пригрозил снова броситься на него. Тогда Базини сказал:

— Прошу вас, Бога ради, я не мог иначе.

— Молчи! — крикнул Райтинг. — Надоели нам твои увертки! Теперь мы узнали раз и навсегда, чего от тебя можно ждать, и поступать будем соответственно...

Наступило короткое молчание. Вдруг Тёрлес тихо, почти ласково сказал:

— Скажи-ка: «Я вор».

Базини сделал большие, почти испуганные глаза; Байнеберг одобрительно засмеялся.

Но Базини молчал. Тогда Байнеберг толкнул его в бок и прикрикнул на него:

— Не слышишь, что ли, ты должен сказать, что ты вор! Говори сейчас же!

Снова наступила короткая, почти мгновенная тишина; затем Базини тихо, одним духом и как можно более безобидным тоном сказал:

— Я вор.

Байнеберг и Райтинг довольно засмеялись, глядя на Тёрлеса.

— Это ты хорошо придумал, малыш. И обратились к Базини:

— А теперь ты скажешь еще: я скотина, я вор и скотина, я ваша скотина, вор и свинья.

И Базини сказал это не переводя дыхания и с закрытыми глазами.

Но Тёрлес уже опять откинулся в темноту. Ему было тошно от этой сцены и стыдно, что он выдал другим пришедшее ему в голову.

На занятиях по математике Тёрлеса вдруг осенила одна мысль.

В последние дни он слушал уроки в школе с особым интересом, ибо про себя думал: «Если это действительно подготовка к жизни, как они говорят, то значит, тут должен найтись и какой-то намек на то, чего я ищу».

При этом он думал именно о математике; еще со времени тех мыслей о бесконечности.

И в самом деле, среди занятий его вдруг озарило. Сразу после окончания урока он подсел к Байнебергу — единственному, с кем он мог говорить о подобных вещах.

— Слушай, ты это вполне понял? — Что?

— Эту историю с мнимыми числами?

— Да. Это же совсем не так трудно. Надо только запомнить, что квадратный корень из минус единицы — это еще одна величина при вычислении.

— Но вот в том-то и дело. Такого же не существует. Любое число, положительное или отрицательное, дает в квадрате что-то положительное. Поэтому не может быть в действительности числа, которое было бы квадратным корнем из чего-то отрицательного.

— Совершенно верно. Но почему бы, несмотря на это, не попытаться произвести извлечение квадратного корня и при отрицательном числе? Конечно, это не может дать никакой действительной величины, но потому-то и называют такой результат мнимым. Это все равно как сказать: здесь вообще всегда кто-то сидел, поставим и сегодня стул для него. И даже если он тем временем умер, сделаем вид, будто он придет.

— Но как же так, если точно, с математической точностью знаешь, что это невозможно.

— Вот и делают вид, будто это не так. Видимо, какой-то толк от этого есть. А разве иначе обстоит дело с иррациональными числами? Деление, которое никогда не кончается, дробь, величину которой нельзя вычислить, сколько бы долго ты ни считал? А как ты можешь представить себе, что параллельные линии пересекаются в бесконечности? Я думаю, если бы мы были чересчур добросовестны, то математики не было бы на свете.

— В этом ты прав. Если все так и представлять себе, то получается и правда довольно странно. Но этот-то и Удивительно, что с этими мнимыми или еще какими-либо невозможными величинами можно действительно производить вычисления, дающие осязаемый результат!

— Только эти мнимые факторы должны в ходе вычисления взаимно уничтожаться.

— Да, да. Все, что ты говоришь, я знаю. Но не остается ли, несмотря ни на что, во всем этом что-то необыкновенное? Как бы объяснить это тебе? Задумайся только: сначала в таком вычислении идут вполне солидные числа, представляющие собой метры, или вес, или еще что-нибудь осязаемое и хотя бы являющиеся действительно числами. В конце вычисления числа такие же. Но те и другие связаны между собой чем-то, чего вообще нет. Не похоже ли это на мост, от которого остались только опоры в начале и в конце и который все же переходишь так уверенно, словно он весь налицо? Для меня в таком вычислении есть что-то головокружительное. Словно часть пути заходит бог весть куда. Но самое жуткое, помоему, — сила, которая скрыта в таком вычислении и держит тебя так крепко, что ты все-таки попадаешь туда, куда нужно.

Байнеберг ухмыльнулся.

— Ты говоришь уже почти совсем как наш поп: «Ты видишь яблоко... это колебания света, а глаза и так далее... и ты протягиваешь руку, чтобы украсть его... это мышцы и нервы приводят ее в движение... Но между тем и другим есть что-то, что рождает одно из другого... а это бессмертная душа, которая согрешила сейчас... да... да... ни одного вашего действия нельзя объяснить без души, она играет вами, как фортепианными клавишами...» — И он передразнил интонацию, с какой преподаватель катехизиса рассказывал эту старую притчу.

— Впрочем, вся эта история мало интересует меня.

— Я думал, как раз тебя она должна интересовать. Я, во всяком случае, сразу подумал о тебе, потому что это — если это действительно так необъяснимо — почти подтверждение твоей веры.

— Почему это не должно быть объяснимо? Я вполне допускаю, что изобретатели математики споткнулись тут о собственные ноги. Почему, в самом деле, то, что находится за пределами нашего разума, не могло позволить себе сыграть такую шутку именно с этим самым разумом? Но меня это не занимает, ведь такие вещи ни к чему не ведут.

Еще в тот же день Тёрлес попросил у учителя математики разрешения прийти к нему, чтобы тот объяснил ему некоторые места последней лекции.

На следующий день во время обеденного перерыва он поднялся по лестнице в

маленькую квартиру преподавателя.

Он проникся теперь каким-то совершенно новым уважением к математике, потому что она внезапно перестала быть для него мертвым учебным заданием и сделалась чем-то очень живым. И из-за этого уважения он испытывал какую-то зависть к учителю, который, конечно, прекрасно знал все эти связи, всегда носил с собой свое знание, как ключ от запертого сада. Но, кроме того, Тёрлесом двигало любопытство, несколько, впрочем, нерешительное. Он никогда еще не был в комнате молодого мужчины, и ему очень хотелось узнать, как выглядит жизнь такого другого, знающего и все же спокойного человека, узнать хотя бы настолько, насколько о нем можно судить по внешнему виду, по окружению.

Вообще-то он был по отношению к своим учителям робок и сдержан и считал, что потому особым их расположением не пользуется. Его просьба показалась ему поэтому, когда он теперь взволнованно остановился у двери, рискованным предприятием, где дело идет не столько о том, чтобы получить разъяснение, — ибо в глубине души он теперь уже сомневался в этом, — сколько о том, чтобы заглянуть как бы за учителя, в его каждодневное соприкосновение с математикой.

Его провели в кабинет. Это была продолговатая комната с одним окном; у окна стоял закапанный чернилами письменный стол, а у стены — диван, обитый рубчатой зеленой колючей тканью и украшенный кисточками. Над диваном висели выцветшая студенческая шапочка и множество коричневых, потемневших фотографий формата визитной карточки, сделанных в университетские времена. На овальном столе с крестообразным подножием, завитки которого, претендуя на изящество, походили на неудавшуюся любезность, лежали трубка и пластинчатый, крупно нарезанный табак. Вся комната пропахла поэтому дешевым кнастером.

Не успел Тёрлес вобрать в себя эти впечатления и отметить в себе известное неудовольствие, словно от соприкосновения с чем-то неаппетитным, как вошел учитель.

Это был молодой человек, не старше тридцати лет, блондин, нервный, недюжинный математик, уже представивший ученому миру несколько важных работ.

Он сразу сел за свой письменный стол, покопался в лежащих на нем бумагах (Тёрлесу позднее показалось, что он укрылся за ним), протер носовым платком пенсне, закинул ногу на ногу и выжидательно посмотрел на Тёрлеса.

Тёрлес тоже начал уже разглядывать его. Он заметил белые грубошерстные носки и еще — что тесемки подштанников выпачкались о ваксу полусапожек.

Носовой платок зато выделялся по контрасту белизной и манерностью, а галстук был хоть и лоскутный, но зато пестрел всеми цветами радуги, как палитра.

Тёрлес чувствовал, что эти маленькие наблюдения невольно отталкивают его дальше, он уже не мог надеяться, что этот человек действительно обладает значительными знаниями, коль скоро ни в его внешности, ни во всем его окружении явно не было ни малейшего признака таковых. Кабинет математика он втихомолку представлял себе совершенно иным: с каким-нибудь внешним проявлением ужасных вещей, которые здесь продумывались. Обыкновенность оскорбила его; он перенес ее на математику, и его почтение перед ней стало сменяться недоверчивой строптивостью.

А поскольку и учитель нетерпеливо ерзал на своем месте, не зная, как истолковать столь продолжительное молчание и столь пытливые взгляды, между обоими уже в эту минуту установилась атмосфера недоразумения.

— Ну, давайте... пожалуйста... я с удовольствием объясню вам, — начал учитель.

Тёрлес изложил свои возражения, стараясь разъяснить, что они для него значат. Но у него было такое чувство, будто он говорит сквозь плотный, мутный туман, и лучшие его слова застревали у него уже в горле.

Учитель улыбался, покашливал, сказал «с вашего позволения» и, закулив папиросу, курил ее торопливыми затяжками; бумага — Тёрлес все это замечал и находил обыкновенным — густо тускнела и каждый раз с треском скукоживалась; учитель снял пенсне, снова надел его, кивнул головой... наконец не дал Тёрлесу договорить.

— Я рад, да, дорогой мой Тёрлес, я действительно очень рад, — прервал он его. — Ваши сомнения свидетельствуют о серьезности, о вдумчивости, о... гм... но не так-то легко дать вам нужное объяснение... Не поймите меня превратно... Видите ли, вы говорили о вмешательстве трансцендентных гм... да... это называется трансцендентный... факторов...

Я же не знаю, как вы это ощущаете. Сверхчувственное, находящееся по ту сторону строгих границ разума, — это статья особая. Я, собственно, не очень-то вправе вмешиваться в такие вещи, это не относится к моему предмету. На сей счет можно подумать и так, и этак, и я отнюдь не собираюсь с кем-либо полемизировать... Что же касается математики, — и он подчеркнул слово «математика», словно раз и навсегда захлопывая какую-то роковую дверь, что, стало быть, касается математики, то тут, несомненно, есть также естественная и только математическая связь. Мне пришлось бы только — строгой научности ради — сделать несколько допущений, которые вы вряд ли поймете, да и времени на это у нас нет. Я, знаете, готов признать, что, например, эти мнимые, эти не существующие в действительности величины, ха-ха, весьма твердый орешек для молодого ученика. Удовлетворитесь тем, что такие математические понятия — это чисто математическая логическая неизбежность. Поймите, на той элементарной ступени обучения, где вы еще находитесь, многому, чего приходится касаться, очень трудно дать верное объяснение. К счастью, это мало кто чувствует, но если такой, как вы, сегодня, — но, повторяю, меня это очень обрадовало, — действительно вдруг находится, то ему можно только сказать: дорогой друг, ты должен просто поверить; когда ты будешь знать математику в десять раз больше, чем сейчас, ты поймешь, а пока поверь! Иначе нельзя, дорогой Тёрлес, математика — это особый мир, и надо в нем довольно долго пожить, чтобы почувствовать все, что в нем требуется.

Тёрлес был рад, когда учитель умолк. С тех пор как та дверь захлопнулась, у него было такое чувство, что слова удаляются все дальше и дальше... в другую, безразличную сторону, туда, где находятся все верные и все же ничего не говорящие объяснения.

Но он был оглушен потоком слов и своей неудачей и не сразу понял, что пора подняться.

Тогда, чтобы окончательно решить дело, учитель поискал последний, убедительный аргумент.

На маленьком столике лежал роскошно изданный том Канта. Учитель взял его и показал Тёрлесу.

— Видите эту книгу, это философия, здесь даны определяющие элементы наших поступков. И если бы вы могли проникнуть в их подоплеку, вы увидели бы сплошь такие логические неизбежности, которые все определять-то определяют, а сами-то не так уж понятны. Это очень похоже на то, с чем мы сталкиваемся в математике. И все же мы то и дело поступаем в соответствии с ними. Вот вам и доказательство того, насколько важны такие вещи. Однако, — усмехнулся он, увидев, что Тёрлес и впрямь раскрыл книгу и стал листать ее, — оставьте это пока. Я хотел только привести вам пример, который вы вдруг когда-нибудь вспомните. Пока это, пожалуй, слишком трудно для вас.

Весь остаток дня Тёрлес находился в состоянии взволнованности. То обстоятельство, что он держал в руках Канта, это случайное обстоятельство, на которое он в ту минуту особого внимания не обратил, отзывалось в нем теперь с большой силой. Имя Канта было известно ему понаслышке и котирировалось у него так, как оно вообще котируется в обществе, далеко от гуманитарных наук, — как последнее слово философии. И этот авторитет был даже одной из причин того, что Тёрлес мало занимался дотоле серьезными книгами. Ведь обычно, преодолев период, когда им хотелось стать кучером, садовником или кондитером, очень молодые люди выбирают себе в фантазии поприще прежде всего там, где, как им кажется, их честолюбию представится наибольшая возможность совершить что-нибудь выдающееся. Если они говорят, что хотят стать врачом, то наверняка они видели где-нибудь красивую и заполненную приемную, или стеклянный шкаф с жутковатыми хирургическими инструментами, или еще что-то подобное; если они говорят о дипломатической карьере, то думают о блеске и изысканности международных салонов. Словом, они выбирают себе

профессию по той среде, в какой им больше всего хочется видеть себя, и по той позе, в какой они нравятся себе больше всего.

При Тёрлесе имя Канта произносилось не иначе, как к слову и с таким выражением лица, словно это имя какого-нибудь наводящего жуть святого. И Тёрлес не мог не думать, что Кант окончательно решил проблемы философии и с тех пор заниматься ею — пустое дело, ведь точно так же он, Тёрлес, считал, что после Гете и Шиллера незачем уже сочинять стихи.

Дома эти книги стояли в шкафу с зелеными стеклами в папином кабинете, и Тёрлес знал, что шкаф этот никогда не открывался, кроме тех случаев, когда его показывали какому-нибудь гостю. Это было как святилище некоего божества, к которому стараются не приближаться и которое чтут только потому, что благодаря его существованию можно уже не печься об определенных вещах.

Это искаженное отношение к философии и литературе оказало впоследствии на дальнейшее развитие Тёрлеса то злосчастное влияние, которому он обязан был множеством печальных часов. Ибо из-за этого его честолубие оттеснялось от истинных своих объектов и попадало — пока он, утратив свою цель, искал какой-нибудь новый — под грубое и решительное влияние его спутников. Его склонности возвращались уже только изредка и стыдливо и каждый раз оставляли сознание, что он совершил что-то ненужное и смешное. Но они были все же настолько сильны, что ему не удавалось освободиться от них совсем, и эта постоянная борьба лишала его нрав твердых линий и прямоты.

Сегодня, однако, это отношение вступило, казалось, в какую-то новую фазу. Мысли, ради которых он сегодня тщетно искал разъяснения, уже не были беспочвенной игрой воображения, нет, они взбудоражили, они не отпускали его, и всем своим телом он чувствовал, что за ними бьется кусок его жизни. Это было для Тёрлеса что-то совершенно новое. В душе его была определенность, которой он вообще-то не знал за собой. Это было что-то мечтательно-таинственное. Это, по-видимому, потихоньку развивалось под влиянием последнего времени и теперь вдруг постучалось властной рукой. У него было на душе, как у матери, впервые почувствовавшей повелительные движения внутри своей утробы.

Вторая половина дня выдалась сладостная.

Тёрлес извлек из ящика все свои поэтические опыты, которые он там хранил. Он сел с ними к печке и оказался в полном одиночестве и невидим за ее могучим прикрытием. Одну за другой перелистывал он тетради, затем очень медленно рвал их на клочки и бросал каждый отдельно в огонь, снова и снова упиваясь умилением прощания.

Он хотел этим отбросить назад весь прежний груз, словно сейчас пришло время — не отягощенное ничем — направить все внимание на шаги, которые надо сделать вперед.

Наконец он встал и вышел к другим. Он чувствовал себя свободным от всяких боязливых взглядов со стороны. То, что он совершил, произошло, в сущности, исключительно инстинктивно; ничто не давало ему уверенности, что отныне он действительно сможет быть другим, кроме самого появления этого импульса. «Завтра, — сказался себе, — завтра я все тщательно проверю и уж сумею обрести ясность».

Он походил по залу, между отдельными скамьями, глядя в раскрытые тетради, на пальцы, деловито сновавшие при письме по их яркой белизне и тянувшие за собой каждый свою маленькую коричневатую тень, — он смотрел на это так, словно вдруг проснулся с глазами, которым все кажется значительнее.

Но следующий же день принес горькое разочарование. Уже утром Тёрлес купил дешевое издание того тома, который видел у учителя, и воспользовался первым же перерывом, чтобы приступить к чтению. Но из-за сплошных скобок и сносок он не понимал ни слова, а если он добросовестно следовал глазами за фразами, у него появлялось такое ощущение, словно старая костлявая рука вывинчивает у него мозг из головы.

Когда он примерно через полчаса, устав, перестал читать, он дошел только до второй страницы, и на лбу у него выступил пот.

Но он сжал зубы и прочел еще одну страницу, пока не кончился перерыв.

А вечером ему уже не хотелось прикасаться к этой книге. Страх? Отвращение? Он не знал точно. Одно лишь мучило его обжигающе явственно — что у учителя, человека такого невысокого, казалось, полета, книга эта лежала на виду в комнате, словно была его повседневным чтением.

В таком настроении и застал его Байнеберг.

— Ну, Тёрлес, каково было вчера у учителя?

Они сидели вдвоем в амбразуре окна, загородившись широкой вешалкой, где висело множество шинелей, так что из класса к ним проникал лишь то нараставший, то затихавший гул и отсвет ламп на потолке. Тёрлес рассеянно играл с висевшей перед ним шинелью.

— Ты спишь, что ли? Что-то уж он тебе, наверное, ответил? Могу, впрочем, представить себе, что он был изрядно смущен, не так ли?

— Почему?

— Ну, такого глупого вопроса он, наверно, не ждал.

— Вопрос был совсем не глупый. Я все еще не могу отделаться от него.

— Да я ведь вовсе не в дурном смысле. Только для него он, наверно, был глуп. Они заучивают свои сведения наизусть, как поп свой катехизис, и если спросить их не совсем по-заведенному, они всегда смущаются.

— Ах, смутился он не из-за того, что не знал, что ответить. Он даже не дал мне договорить, так быстро нашелся ответ у него.

— Как же он объяснил эту историю?

— По сути, никак. Он сказал, что мне этого еще не понять, что это логические неизбежности, которые становятся ясными только тому, кто уже занимался этими вещами обстоятельнее.

— Вот это-то и жульничество! Человеку просто разумному они не в состоянии изложить свои истории! Только если его десять лет промуштруют. А за такой срок он тысячи раз произведет вычисления на той основе и воздвигнет целые здания, где все будет правильно. И тогда он просто поверит в зло, как католик в богоявление, оно ведь всегда замечательно подтверждало себя... Велика ли хитрость навязать доказательство такому человеку? Напротив, никто не сможет убедить его, что хоть его здание и стоит, а каждый отдельный камень станет воздушным, если захочешь дотронуться до него!

Тёрлес почувствовал, что это байнеберговское преувеличение неприятно ему.

— Ну, не так уж, вероятно, все скверно, как ты изображаешь. Я никогда не сомневался в правоте математики — в конце концов, успех убеждает в ней. Странно мне было только то, что иное порой так противоречит разуму. А ведь возможно, что это только кажется.

— Что ж, подожди эти десять лет, может быть, у тебя и будет тогда надлежаще препарированный разум... Но я тоже размышлял об этом после нашего последнего разговора; и я твердо убежден, что тут есть загвоздка. Кстати, и ты тоже тогда говорил об этом совсем не так, как сегодня.

— О нет. У меня это и сегодня вызывает сомнения, только я не хочу сразу все так преувеличивать, как ты. Станным я нахожу все это тоже. Представление об иррациональном, мнимом, о линиях, которые параллельны и в бесконечности — значит, все-таки где-то — пересекаются, меня волнует. Когда я об этом думаю, я бываю оглушен, словно от удара по голове. — Тёрлес наклонился вперед, совсем ушел в тень, и голос его стал глуше. — Прежде в голове у меня все было очень ясно и четко распределено. А теперь мне кажется, что мои мысли — как облака, и когда я подхожу в них к определенным местам, кажется, что дальше — провал, через который виден какой-то бесконечный, не поддающийся определению мир. Математика-то, конечно, права. Но что с моей головой и что со всеми другими? Неужели они совсем не чувствуют этого? Как это отражается в них? Неужели совсем никак?

— По-моему, ты мог видеть это на примере своего учителя. Ты — ты, столкнувшись с таким, сразу оглядываешься и спрашиваешь: как согласовать это со всем прочим во мне? А они просверлили себе в собственном мозгу ходы и оглядываются не далее, чем на

ближайший угол — цела ли еще нить, которую они за собой тянут. Твоя манера задавать вопросы загоняет их в тупик. Никто из них не способен вернуться назад. Как можешь ты, кстати, утверждать, что я преувеличиваю. Эти взрослые, эти умники целиком вплелись в какую-то сеть, одна петля держит другую, и все в целом кажется на диво естественным. Но где находится первая петля, благодаря которой все держится, никто не знает.

Мы с тобой никогда еще так серьезно об этом не говорили, в конце концов не очень-то хочется распространяться о таких вещах, но теперь ты видишь всю слабость того взгляда на мир, которым люди довольствуются.

Это обман, жульничество и слабоумие! Малокровие! Ведь разума у них хватает ровно настолько, чтобы выдумать в голове свое научное объяснение, но вне головы оно замерзает, ты понимаешь? Ха-ха! Все эти вершины, эти крайности, о которых учителя говорят нам, что они так тонки, что мы сейчас еще не способны до них дотронуться, — они мертвы... они замерзли... ты понимаешь? Во все стороны торчат острия этих боготворимых ледышек, и никто на свете не знает, что с ними делать, такие они безжизненные!

Тёрлес давно уже снова откинулся назад. Горячее дыхание Байнеберга застревало в шинелях и нагревало этот закуток. И как всегда, когда он бывал возбужден, Байнеберг был неприятен Тёрлесу. Тем более сейчас, когда он придвинулся так близко, что глаза его уперлись в Тёрлеса двумя зеленоватыми камешками, в то время как руки с какой-то особенно безобразной юркостью ходили ходуном в полумраке.

— Все спорно, что они утверждают. Все, говорят они, происходит естественным образом: если камень падает, то это, мол, сила тяжести. А почему не воля Бога и почему тот, кто угоден ему, не может быть избавлен им от участи камня? Но зачем я тебе это рассказываю?! Ты же навсегда останешься межеумком! Найти походя что-нибудь странное, немного покачать головой, немного ужаснуться — это по тебе. Но за эти пределы ты не сунешься. Впрочем, это не моя беда.

— Моя, что ли? Но ведь и твои-то утверждения не так уж бесспорны.

— Как можешь ты это говорить? Они вообще — единственно бесспорная вещь на свете. Зачем мне, впрочем, ссориться с тобой из-за этого?! Ты это еще увидишь, дорогой Тёрлес. Готов даже пари держать, что ты еще чертовски заинтересуешься, в чем тут дело. Например, когда с Базини выйдет так, как я...

— Оставь это, пожалуйста, — прервал его Тёрлес, — как раз сейчас мне не хочется это припутывать.

— О, почему же?

— Ну, так. Просто не желаю. Мне это неприятно. Базини и это для меня две разные вещи. А разное я не имею обыкновения валить в одну кучу.

У Байнеберга перекошилось лицо от этой непривычной решительности, даже грубости его младшего товарища.

Но Тёрлес чувствовал, что одно упоминание о Базини подкосило всю его уверенность, и чтобы скрыть это, он вознегодовал.

— Ты вообще утверждаешь какие-то вещи с прямотаки сумасшедшей уверенностью. А ты не считаешь, что твои теории точно так же построены на песке, как другие? И ходы у тебя гораздо более извилистые, и гораздо больше доброй воли требуется, чтобы их понять.

Байнеберг удивительным образом не разозлился; он только улыбнулся правда, немного криво, и глаза его сверкнули вдвое беспокойнее — и скороговоркой сказал:

— Увидишь еще, увидишь еще...

— Что же я увижу? А и увижу — так хотя бы увижу. Но меня это очень мало интересует, Байнеберг! Ты не понимаешь меня. Ты совершенно не знаешь, что меня интересует. Если меня мучит математика и если меня... — но он быстро одумался и ничего не сказал о Базини, — если меня мучит математика, то я ищу за ней чего-то совсем другого, чем ты, я не ищу ничего сверхъестественного, а ищу именно естественное... понимаешь? Ничего не ищу вне себя... я ищу что-то в себе. В себе! Что-то естественное! Чего я, несмотря на это, не понимаю! Но тебе это так же невдомек, как тому математику... ах, отстань от меня

сейчас со своими рассуждениями!

Тёрлес, вставая, дрожал от волнения. А Байнеберг повторил скороговоркой:

— Ну, увидим, увидим...

Лежа вечером в постели, Тёрлес не мог уснуть. Четверти часа украдкой, как медицинские сестры, удалялись от его ложа, ноги у него были ледяные, а одеяло давило его, вместо того чтобы греть.

В дортуаре слышалось лишь спокойное и ровное дыхание воспитанников, которые после труда учебных занятий, гимнастики и бега на воздухе уснули здоровым, животным сном.

Тёрлес прислушивался к дыханию спящих. Это было дыхание Байнеберга, это — Райтинга, это — Базини; которое? Он этого не знал; но одно из многих, равномерных, равно спокойных, равно уверенных, поднимавшихся и опускавшихся, как механическое устройство.

Одна из полотняных занавесок разматалась, опускаясь, только на половину; ниже ее в комнату глядела светлая ночь, вычерчивая по полу бледный неподвижный четырехугольник. Шнурок ее то ли зацепился вверх, то ли выскочил и безобразно извивался, свисая, а тень его на полу ползла по светлому четырехугольнику, как червяк.

Во всем этом было какое-то пугающее, гротескное безобразие.

Тёрлес попробовал думать о чем-нибудь приятном. Ему вспомнился Байнеберг. Разве не перешеголял он его сегодня? Не нанес удар его превосходству? Разве не удалось ему сегодня впервые отстоять перед кем-то свою самобытность? Так подчеркнуть ее, что тот почувствовал бесконечную разницу в тонкости ощущений, отделявшую друг от друга их восприятие? Сумел ли тот еще как-то возразить? Да или нет?..

Но это «да или нет?» пузырилось в его голове и лопалось, «да или нет?.. да или нет?..» пузырилось опять и опять, не переставая, в ритме топота, как грохот поезда, как колыханье цветов на слишком высоких стеблях, как стук молотка, слышный через множество тонких стен в тихом доме... Это навязчивое, самодовольное «да или нет?» было противно Тёрлесу. Его радость была несправедна, походила на какие-то смешные подскоки.

И в довершение, когда он встрепнулся, показалось, что это кивает его голова, перекачивается по плечам или ритмично поднимается и опускается...

Наконец в Тёрлесе все умолкло. Перед его глазами была только широкая черная плоскость, кругообразно расходившаяся во все стороны.

Вот издалека, от края... двинулись через стол... две маленькие шатающиеся фигурки. Это были явно его родители. Но такие маленькие, что он не мог испытывать к ним какие-либо чувства.

На другой стороне они исчезли.

Потом появились опять двое... Но вот кто-то сзади пробежал мимо них шагами, которые были вдвое длинней его роста... и вот он уже скрылся за краем. Не был ли это Байнеберг?.. Ну, а те двое — ведь один из них был же учитель математики? Тёрлес узнал его по платочку, кокетливо выглядывавшему из кармана. А другой? С очень, очень толстой книгой под мышкой, книгой в половину его роста? Он еле тащил ее... Через каждые два шага они останавливались и клали книгу на землю. И Тёрлес услышал, как писклявый голос его учителя сказал: «Если дело обстоит так, мы найдем то, что нужно, на странице двенадцатой, страница двенадцатая отсылает нас дальше, на страницу пятьдесят вторую, но тогда остается в силе и то, что было замечено на странице тридцать первой, а при таком условии...» При этом они стояли, склонившись над книгой, и совали в нее руки, отчего страницы разлетались. Через некоторое время они опять выпрямились, и другой пять или шесть раз погладил учителя по щекам. Затем они вновь прошли несколько шагов, и Тёрлес снова услышал этот голос, в точности так, как если бы тот на уроке математики перечислял пункты какого-нибудь длинного доказательства. Это продолжалось до тех пор, пока другой опять не погладил учителя.

Этот другой?.. Тёрлес нахмурил брови, чтобы лучше видеть. Не носил ли он косичку?

И довольно старинное платье? Очень старинное? Даже шелковые штаны до колен? Это уж не?... О! Тёрлес проснулся с криком: «Кант!»

В следующий миг он улыбался; вокруг было очень тихо, дыхание свящих притихло. Он тоже спал. И в постели его тем временем стало тепло. Он сладко потянулся под одеялом.

«Мне, значит, снился Кант, — подумал он, — почему не дольше? Может быть, он мне все же что-нибудь выболтал бы?» Он вспомнил, как однажды, не подготовившись по истории, он всю ночь так живо видел во сне относящиеся к предмету лица и события, что на следующий день мог рассказать обо всем так, словно сам при этом присутствовал, и выдержал экзамен с отличием. И тут ему опять пришел на ум Байнеберг, Байнеберг и Кант — вчерашний разговор.

Медленно уходил от Тёрлеса сон — медленно, как шелковое одеяло, которое, сползая, скользит по коже голого тела и никак не кончается.

И все же улыбка его вскоре снова сменилась какимто странным беспокойством. Разве в своих мыслях он действительно продвинулся хотя бы на шаг? Разве хоть что-нибудь вычитал в этой книге, что содержало бы разгадку всех загадок? А его победа? Конечно, только его неожиданная живость заставила замолчать Байнеберга.

Опять им овладели глубокое отвращение и буквально физическая тошнота. Несколько минут он пролежал совершенно раздавленный омерзением.

Затем, однако, до его сознания вдруг снова дошло, что его тела всюду касается мягкое, теплое полотно постели. Осторожно, очень медленно и осторожно повернул Тёрлес голову. Верно, на каменному полу лежал еще тот тусклый четырехугольник, хоть и с немного смещенными сторонами, но по нему еще ползла та извивающаяся тень. Ему показалось, что там сидит на цепи какая-то опасность, за которой он из своей постели, как бы защищенный решеткой, может наблюдать со спокойствием неуязвимости.

В его коже, вокруг всего его тела, проснулось при этом некое чувство, которое вдруг превратилось в образ памяти. Когда он был совсем маленький да, да, это было тогда, когда он еще носил платьица и еще не ходил в школу, — бывали времена, когда ему невыразимо страстно хотелось быть девочкой. И это страстное желание шло тоже не от головы — о нет — и не от сердца, — оно вызывало щекотку во всем теле и зудело под кожей. Да, бывали мгновения, когда он настолько живо ощущал себя девочкой, что думал, что иначе и быть не может. Ибо тогда он ничего не знал о значении соматических различий и не понимал, почему ему со всех сторон твердили, что теперь он навсегда останется мальчиком. А когда его спрашивали, почему он считает, что лучше быть девочкой, он чувствовал, что выразить это нельзя...

Сегодня он впервые снова ощутил нечто подобное. Снова вот так, зудом под кожей...

Нечто, казавшееся и телом, и душой одновременно. Бег и спех, тысячами бабочек с бархатными щупальцами бившиеся в его теле. И одновременно то упорство, с каким убегают девочки, когда чувствуют, что взрослые все равно не поймут их, надменность, с какой они потом украдкой подсмеиваются над взрослыми, эту боязливую, всегда готовую к быстрому побегу надменность, чувствующую, что она в любой миг может улизнуть в какое-то ужасное глубокое укрытие в маленьком теле...

Тёрлес тихо засмеялся про себя и снова сладко потянулся под одеялом.

Этот суетливый человек, приснившийся ему, как жадно перебирал он страницы пальцами! А четырехугольник там внизу? Ха-ха. Замечали ли когда-нибудь в своей жизни что-либо подобные такие умные человечки? Он показался себе бесконечно защищенным от этих умников и впервые почувствовал, что его чувственность — ведь что это она, он давно уже знал — есть нечто такое, чего у него никто не сможет отнять и в чем подражать ему тоже никто не сможет, нечто такое, что, словно высочайшей, потаеннейшей стеной, защищает его от всякой чужой умности.

Лежали ли когда-нибудь в жизни, продолжал он эти мечты, такие умные человечки под уединенной стеной и пугались ли при каждом шорохе за известкой, словно там что-то мертвое искало слов, чтобы заговорить с ними? Чувствовали ли они когда-нибудь так

музыку, которую заводит ветер в осенних листьях, — так до конца и насквозь, что за ней вдруг открывался какой-то ужас, который медленно, медленно превращался в чувственность. Но в такую странную чувственность, которая скорее походит на бегство и на взрыв смеха потом. О, легко быть умным, если не знаешь всех этих вопросов...

Но между тем то и дело казалось, что этот маленький человечек вырастает с неумолимо строгим лицом в исполина, и каждый раз дрожь, как от электрического удара, мучительно пробегала от мозга по телу Тёрлеса. Вся боль из-за того, что он все еще стоит перед запертой дверью, — то самое, что еще миг назад вытесняли теплые удары его крови, — вся эта боль пробуждалась тогда снова, и душу Тёрлеса наполняла бессловесная жалоба, как вой собаки, дрожащий над широкими ночными полями.

Так он уснул. Уже в полусне он еще несколько раз взглянул на пятно у окна, так машинально дотрагиваясь до каната крепления, чтобы убедиться, что он еще натянут. Затем неясно всплыло намерение хорошенько поразмыслить о себе завтра — лучше всего с пером и бумагой, — затем, совсем под конец, была лишь приятная теплота — как ванна и чувственное возбуждение, — однако как таковая эта теплота уже не была им осознана, а каким-то совершенно непостижимым, но очень явственным образом связалась с Базини.

Затем он спал крепко и без сновидений.

И все же это было первое, с чем Тёрлес проснулся на следующий день. Ему очень хотелось знать, что он, собственно, тогда под конец то ли думал, то ли видел во сне о Базини, но он не был в состоянии вспомнить это.

Осталось от всего только такое ласковое чувство, какое царит на Рождество в доме, где дети знают, что подарки уже доставлены, но еще заперты за той таинственной дверью, сквозь щели которой нет-нет да проникнет луч елочного сияния.

Вечером Тёрлес остался в классе; Байнеберг и Райтинг куда-то ушли, наверно, в каморку на чердаке; Базини сидел впереди на своем месте, подперев обеими руками склоненную над книгой голову.

У Тёрлеса была припасена тетрадь, и он тщательно приготовил перо и чернила. Затем написал на первой странице, немного помедлив: *De natura hominum* О природе людей (лат.), он полагал, что философский предмет требует латинского названия. Затем нарисовал большую искусную виньетку вокруг заглавия и откинулся на стуле, чтобы подождать, пока она высохнет.

Но это произошло уже давно, а он все еще не брался за перо снова. Что-то удерживало его в неподвижности. Это было гипнотическое воздействие больших жарких ламп, животного тепла, исходившего от этой массы людей. Он всегда был подвержен этому состоянию, доходившему у него порой до физического ощущения жара, которое всегда бывало связано с чрезвычайной духовной чувствительностью. Так и сегодня. Он давно уже подспудно наметил, что, собственно, запишет: весь ряд впечатлений определенного рода от той встречи у Божены до той смутной чувственности, которая появлялась у него в последние разы. Когда все это будет по порядку, факт за фактом, описано, надеялся он, само собой получится и правильное, разумно-закономерное построение, подобно тому, как из путаницы стократно пересекающихся кривых выступает форма обводящей их линии. И большего он не хотел. Но до сих пор с ним было так же, как с рыбаком, который по дрожанию сети чувствует, что добыча попалась тяжелая, но, несмотря ни на какие усилия, не может вытащить ее на свет.

И вот Тёрлес все-таки начал писать — но торопливо и уже не обращая внимания на форму. «Я чувствую что-то в себе, — записал он, — и сам не знаю, что это такое». Однако он быстро зачеркнул эту строчку и написал вместо нее: «Наверно, я болен... безумен!» Тут у него мурашки пошли по телу, ибо в этом слове есть что-то приятно-патетическое. «Безумен — иначе почему меня изумляют вещи, которые кажутся другим обыкновенными? Почему это изумление мучит меня? Почему оно пробуждает во мне нечестивые чувства?» Он нарочно выбрал это полное библейской елейности слово, потому что оно показалось ему темнее и полновеснее. «Прежде я противостоял этому, как каждый молодой человек, как все

мои товарищи...» Но тут он остановился. «Правда ли это? — подумал он. — У Божены, например, было ведь уже так странно. Когда же это, собственно, началось?.. Все равно, — подумал он, — когда-то, во всяком случае». Но фразу он так и не довел до конца.

«Какие вещи изумляют меня? Самые незначительные. Чаще всего неодушевленные предметы. Что изумляет меня в них? Что-то, чего я не знаю. Но то-то и оно! Откуда же я беру это „что-то“? Я ощущаю его присутствие. Оно воздействует на меня — так, словно оно хочет заговорить. Я испытываю волнение человека, который должен по движениям губ парализованного догадаться, что тот хочет сказать, и никак не догадывается. Словно у меня на одно чувство больше, чем у других, но чувство это не вполне развито, оно есть, оно напоминает о себе, но оно не работает. Мир для меня полон беззвучных голосов. Кто я поэтому — ясновидящий или одержимый галлюцинациями?

Но воздействует на меня не только неодушевленное: нет, и это гораздо больше ввергает меня в сомнения, и люди тоже. До какой-то поры я видел их такими, какими они видят себя. Байнеберг и Райтинг, например, — у них имеется своя каморка, самая обыкновенная, потайная каморка на чердаке, потому что им доставляет удовольствие обладать таким убежищем. Одно они делают, потому что злы на кого-то, другое — чтобы предотвратить чье-то влияние на товарищей. Все понятные, ясные причины. А сегодня они иногда предстают мне такими, словно я вижу сон и они — действующие лица этого сна. Не только их слова, их поступки, нет, все в них, связанное с их физическим присутствием, оказывает на меня такое же воздействие, как неодушевленные предметы. И все-таки я слышу, как они рядом со мной говорят совершенно по-прежнему, вижу, что их поступки и их слова все еще выстраиваются совершенно по тем же формам... Все это непрестанно пытается уверить меня, что ничего необычного не происходит. И тем не менее так же непрестанно что-то во мне против этого восстает. Перемена эта началась, если я не ошибаюсь, после того как Базини...»

Тут Тёрлес непроизвольно посмотрел на него.

Базини все еще сидел, склонившись над своей книгой, и, казалось, учил урок. При этом зрелище в Тёрлесе умолкли его мысли, и ему представился случай снова почувствовать те сладостные муки, которые он только что описывал. Ибо достаточно было ему отметить, как спокойно и невинно сидит перед ним Базини, решительно ничем не отличаясь от других, сидевших справа и слева, чтобы в Тёрлесе ожили унижения, которые Базини вынес. Ожили... то есть он и думать не думал — с той снисходительностью, которая следует за морализированием, — говорить себе, что всякий, претерпев унижения, старается поскорей обрести хотя бы внешнюю непринужденность, нет, в нем что-то безумно завертелось, сразу же сжав и извратив, а затем невидимым образом разорвав на части образ Базини так, что у него самого голова пошла кругом. Это, впрочем, были только сравнения, которые он придумал позднее. В этот миг у него было только чувство, что что-то в нем, как бешеная юла, вихрем поднимается из сдавленной груди к голове, чувство головокружения. Россыпью цветных точек вкраплялись в это ощущение чувства, которые Базини внушал ему в разное время.

По сути же это было всегда только одно и то же чувство. И по сути даже вообще не чувство, а землетрясение далеко в глубине, землетрясение это никаких заметных волн не отбрасывало., и все-таки вся душа вздрагивала от него с такой сдержанной мощью, что волны даже самых бурных чувств кажутся по сравнению с этим безобидной рябью.

Если это одно чувство в разное время осознавалось им все же по-разному, то причина была в том, что для истолкования этой волны, захлестывавшей весь его организм, он располагал только теми образами, которые мог чувственно воспринять, — так из зыби, бесконечно простирающейся во мраке, взлетают лишь брызги у скал освещенного берега, чтобы сразу же снова беспомощно выпасть из пучка света и утонуть.

Эти впечатления были поэтому непрочны, изменчивы, сопровождалась сознанием их случайности. Тёрлесу никогда не удавалось задержать их, ибо приглядываясь к ним внимательно, он чувствовал, что эти представители на поверхности совершенно несопоставимы с мощью той темной, косной массы, которую они якобы представляли.

Никогда он не «видел» Базини в живой пластике той или иной позы, никогда у него не было настоящего видения, а всегда лишь иллюзия такового, как бы лишь видения его видений. Ибо всегда у него бывало такое ощущение, будто какая-то картина только что промелькнула по таинственной плоскости, и никогда не удавалось ему схватить сам этот миг. Поэтому в нем никогда не унималось то беспокойство, какое испытываешь в кинематографе, когда при иллюзии целостности нельзя все же избавиться от смутного ощущения, что за картиной, которую воспринимает твой глаз, мелькают сотни совсем других, если взять их в отдельности, картин.

Но где ему, собственно, искать в себе эту родящую иллюзию силу, эту силу, всегда недодающую неизмеримо малую долю иллюзии, Тёрлес не знал. Он лишь смутно догадывался, что она связана все с тем же загадочным свойством его души — чувствовать иногда, как и неодушевленные вещи, просто предметы атакуют ее сотнями молчаливых вопрошающих глаз.

Итак, Тёрлес сидел тихо и неподвижно, непрестанно поглядывая на Базини, целиком захваченный вихрем, бушевавшим внутри у него. И снова, и снова вставал все тот же вопрос: что это за особое свойство, которым я обладаю? Постепенно он перестал видеть и Базини, и пышущие жаром лампы, перестал чувствовать животное тепло вокруг себя, и жужжанье, и гул, которые поднимаются от множества людей, даже если они говорят только шепотом.

Жаркой, темной, пылающей массой все это неразлично кружилось вокруг него. Он чувствовал только жжение в ушах и ледяной холод в кончиках пальцев. Он находился в том состоянии жара больше души, чем тела, которое очень любил. Все больше нарастало это настроение, примешивавшее к себе и нежные чувства. В этом состоянии он раньше охотно предавался тем воспоминаниям, какие оставляет женщина, когда ее теплое дыхание впервые овеет такую юную душу. И сегодня тоже в нем проснулось это усталое тепло. Вот оно: одно воспоминание... Это было в поездке... в одном итальянском городке... он жил с родителями на постоялом дворе недалеко от театра, там каждый вечер давали одну и ту же оперу, и каждый вечер он слышал каждое слово, каждый звук, доносившийся оттуда. Но он не знал языка. И все же он каждый вечер сидел у открытого окна и слушал. Так влюбился он в одну из актрис, ни разу ее не увидев. Никогда не захватывал его театр так, как тогда; он ощущал страсть мелодий, как взмахи крыльев больших темных птиц, словно бы чувствуя линии, которые проводил в его душе их полет. Это были уже не человеческие страсти то, что он слышал, нет, это были страсти, вылетевшие из людей, как из слишком тесных и слишком будничных клеток.

В этом волнении он никогда не думал о людях, что там, в театре невидимые — исполняли эти страсти; стоило ему попытаться представить себе их, как тотчас перед глазами у него вспыхивало темное пламя или что-то неслышанно огромных размеров, наподобие того, как в темноте вырастают человеческие тела, а человеческие глаза светятся как зеркала глубоких колодцев. Это мрачное пламя, эти глаза в темноте, эти черные взмахи крыльев он любил тогда под именем той незнакомой ему актрисы.

А кто создал эту оперу? Он не знал. Может быть, либретто ее было пошлым, сентиментальным любовным романом. Чувствовал ли его создатель, что благодаря музыке оно станет чем-то другим?

Тёрлес весь сжался от одной мысли. Таковы ли и взрослые? Таков ли мир? Не общий ли это закон, что в нас есть что-то, что сильнее, больше, прекраснее, страстнее, темнее, чем мы? Над чем мы настолько не властны, что можем лишь наудачу разбрасывать тысячи зерен, пока одно вдруг не прорастет темным пламенем, которое поднимется далеко выше нас?.. И в каждом нерве его тела дрожало в ответ нетерпеливое «да».

Тёрлес посмотрел вокруг блестящими глазами. Все еще были на месте лампы, тепло, свет, усердные люди. Но среди всего этого он показался себе каким-то избранником. Каким-то святым, которому являются небесные видения. Ибо об интуиции великих художников он ничего не знал.

Торопливо, с поспешностью страха он схватил перо и записал несколько строк о своем

открытии, казалось, все это еще раз озарило его душу, как некий свет... а затем глаза ему застлало пепельно-серым дождем, и пестрый блеск в нем погас...

...Но эпизод с Кантом был почти полностью преодолен. Днем Тёрлес вообще не думал об этом больше; убежденность, что сам он уже близок к разрешению своих загадок, была слишком жива в нем, чтобы ему заботиться еще о чьих-то путях. После этого последнего вечера ему казалось, что он уже держал в руке ручку ведущей туда двери, только она вдруг выскользнула. Но поняв, что от помощи философских книг надо отказаться, да и не очень-то доверяя им, он пребывал в некоторой растерянности насчет того, как снова найти эту ускользнувшую ручку. Он несколько раз пытался продолжить свои записи, однако написанные слова оставались мертвы, оставались вереницей угрюмых, давно знакомых вопросительных знаков, не пробуждая снова того мгновения, когда он сквозь них заглядывал как бы в подвал, освещенный дрожащими огоньками свечей.

Поэтому он решил как можно чаще снова и снова искать ситуации, которые несли в себе это, такое необыкновенное для него содержание; и особенно часто останавливался его взгляд на Базини, когда тот, не подозревая, что за ним наблюдают, вращался среди других как ни в чем не бывало. «Уж когда-нибудь, думал Тёрлес, — оно оживет снова и станет, может быть, живее и яснее, чем прежде». И он совсем успокаивался от этой мысли, что по отношению к таким вещам находишься просто в темной комнате и, когда ускользает из-под пальцев нужное место, ничего другого не остается, как еще и еще раз ощупывать наобум темные стены.

Ночами, однако, эта мысль несколько блекла. Тут на него находил вдруг какой-то стыд из-за того, что он все увильивает от своего первоначального намерения постараться извлечь из книги, которую ему показал учитель, содержащееся там все-таки, может быть, объяснение. Тогда он спокойно лежал, прислушиваясь к Базини, чье поруганное тело дышало мирно, как тела всех других. Он лежал спокойно, как охотник в засаде, с чувством, что время, проведенное в таком ожидании, еще вознаградит себя. Но как только возникала мысль о книге, в это спокойствие мелкими зубками вгрызалось сомнение, подозрение, что он делает не то, нерешительное признание своего поражения.

Как только это неясное чувство заявляло о себе, внимание его утрачивало ту неприятную невозмутимость, с какой наблюдаешь за ходом научного эксперимента. Тогда казалось, что от Базини исходит какое-то физическое влияние, какое-то возбуждение, словно спишь близ женщины, с которой можешь в любой миг сорвать одеяло. Щекотка в мозгу, идущая от сознания, что достаточно только протянуть руку. То, что часто толкает молодые пары к излишествах, выходящим далеко за пределы их чувственной потребности.

В зависимости от того, насколько живо он ощущал, что его затея показалась бы ему, быть может, смешной, если бы он знал все то, что знает Кант, знает его учитель, знают все, прошедшие курс наук, в зависимости от силы этого потрясения ослабевали или усиливались чувственные стимулы, из-за которых глаза его не остывали и не закрывались, несмотря на тишину общего сна. А порой эти стимулы вспыхивали в нем даже с такой мощностью, что заглушали любую другую мысль. Когда он в эти мгновения полупокорно-полуотчаянно отдавался их нашептываниям, с ним происходило лишь то, что происходит со всеми людьми, которые тоже ведь никогда не бывают так склонны к бешеной, разнузданной, разрывающей душу, сладострастно-намеренно разрывающей душу чувственности, как тогда, когда они потерпели неудачу, нарушившую равновесие их самоуверенности...

Когда он потом после полуночи лежал наконец в беспокойной дремоте, ему несколько раз казалось, что кто-то в стороне Райтинга или Байнеберга вставал с кровати, накидывал шинель и подходил к Базини. Затем они покидали зал... Но это могло и почудиться...

Наступили два дня праздника; поскольку они пришлось на понедельник и вторник, директор отпустил воспитанников уже в субботу, и получились четырехдневные каникулы. Для Тёрлеса, однако, это был слишком малый срок, чтобы предпринять дальнюю поездку домой; поэтому он надеялся, что хотя бы родители навесят его, но отца задерживали неотложные дела в министерстве, а мать чувствовала себя не совсем здоровой и не могла

отправиться в утомительный путь одна.

Лишь получив письмо, в котором родители сообщали, что не приедут, и присовокупляли всякие нежные утешения, Тёрлес почувствовал, что так оно, собственно, и лучше для него. Он воспринял бы это чуть ли не как помеху, во всяком случае, это привело бы его в большое смятение, — если бы ему пришлось предстать перед родителями именно сейчас.

Многие воспитанники получили приглашения из близлежащих имений. Джюш, у его родителей было прекрасное поместье на расстоянии одного дня езды на коляске от городка, тоже взял отпуск, и Байнеберг, Райтинг, Гофмайер сопровождали его. Базини Джюш тоже пригласил, однако Райтинг велел ему отказаться. Тёрлес сослался на то, что не знает, не приедут ли все же родители; он был совершенно не расположен к бесхитроственному праздничному веселью и развлечениям.

Уже в субботу во второй половине дня весь большой дом умолк и почти опустел.

Когда Тёрлес шагал по коридорам, гул проходил от одного их конца к другому; решительно никому не было до него дела, ибо и большинство учителей уехало на охоту или еще куда-нибудь. Только во время трапез, которые подавали теперь в маленькой комнатке возле покинутой столовой, виделись немногие оставшиеся воспитанники; после еды шаги их снова рассеивались в длинной череде коридоров и комнат, безмолвие дома как бы поглощало их, они сейчас вели жизнь не более заметную, чем жизнь пауков и многоножек в подвале и на чердаке.

Из класса Тёрлеса остались только он и Базини, не считая тех, кто лежал в палатах для больных. При прощании Тёрлес обменялся с Райтингом несколькими тайными словами, которые касались Базини. Райтинг боялся, что Базини воспользуется случаем, чтобы поискать защиты у кого-нибудь из учителей, и очень просил Тёрлеса хорошенько следить за ним.

Однако в этом вовсе не было нужды, внимание Тёрлеса и так было сосредоточено на Базини.

Едва ушла из дома суета подъезжающих колясок, несущих чемоданы слуг, весело прощающихся воспитанников, как Тёрлесом властно овладело сознание, что он остался с Базини наедине.

Это было после первой обеденной трапезы. Базини сидел спереди на своем месте и писал письмо; Тёрлес сел в самом заднем углу комнаты и пытался читать.

То была впервые опять та самая книга, и Тёрлес тщательно продумал эту ситуацию заранее: Базини сидит впереди, он сзади, конечно, держа его глазами, входя в него, как бурав. И читать он хотел так. После каждой страницы глубже погружаясь в Базини. Так, должно быть, это получится; так должен был он найти истину, не выпустив из рук жизнь, живую, сложную, сомнительную жизнь...

Но это не получалось. Как всегда, когда он чересчур тщательно продумывал все заранее. Слишком мало было непосредственности, и нужное настроение пропадало, превращаясь в вязкую, как размазня, скуку, противно прилипавшую к каждой слишком нарочитой новой попытке.

Тёрлес со злостью швырнул книгу на пол. Базини испуганно обернулся, но сразу поспешно стал снова писать.

Так подползли часы к сумеркам. Тёрлес сидел в полном отупении. Единственным, что из какого-то общего чувства жужжащей, гудящей духоты поднималось до его сознания, было тиканье его карманных часов. Как хвостик, виляло оно за вялым туловищем времени. В комнате все расплывалось... Базини, конечно, давно уже не мог больше писать... «а, наверно, он не осмеливается зажечь свет», подумал Тёрлес. Сидит ли он вообще еще на своем месте? Тёрлес глядел в окно на холодный, сумеречный пейзаж, и глаза его должны были сперва привыкнуть к темноте комнаты. Нет, сидит. Вон та неподвижная тень, это, наверно, он. Ах, он даже вздыхает — один раз... два раза, уж не уснул ли он?

Вошел служитель и зажег лампы. Базини встрепнулся и протер глаза. Затем вынул

книгу из ящика и, казалось, принялся за чтение. Тёрлесу донельзя хотелось заговорить с ним, и во избежание этого он поспешно вышел из комнаты.

Ночью Тёрлес чуть не бросился на Базини. Такая ужасная чувственность проснулась в нем после муки бездумного, тупого дня. К счастью, подоспел избавительный сон.

Прошел следующий день. Он не принес ничего, кроме той же бесплодности тишины. Молчание, ожидание извели Тёрлеса... постоянное внимание поглотило все его умственные силы, он был не способен ни о чем думать.

Разбитый, разочарованный, до злейших сомнений недовольный собой, он рано лег в постель.

Он уже долго лежал в беспокойном, разгоряченном полусне, когда услышал, как вошел Базини.

Не шевелясь, он проводил глазами темную фигуру, которая прошла мимо его кровати; он слышал шорохи, вызываемые раздеванием, затем шелест натягиваемого на тело одеяла.

Тёрлес задержал дыхание, однако ничего больше не услышал. И все же его не покидало чувство, что Базини не спит, а так же напряженно, как он, прислушивается к темноте. Так проходили минуты... часы. Прерываемые лишь изредка тихим шорохом ворочающихся в постели тел.

Тёрлес находился в странном состоянии, не дававшем ему уснуть. Вчера его лихорадило от чувственных картин, которые ему рисовало воображение. Лишь совсем под конец они повернули к Базини, как бы под неумолимой рукой сна, погасившего их, после того, как они вспыхнули напоследок, и как раз от этого у него и осталось только очень смутное воспоминание. А сегодня с самого начала было лишь инстинктивное желание встать и пойти к Базини. Пока у него было чувство, что Базини не спит и прислушивается к нему, выдержать это было почти невозможно; а теперь, когда тот, вероятно, все же уснул уже, и вовсе несносно хотелось напасть на спящего, как на добычу.

Тёрлес уже чувствовал, как во всех его мышцах дрожат движения, которые нужно сделать, чтобы приподняться и встать с постели. Однако он все еще не был в силах стряхнуть с себя свою неподвижность.

«Что мне, собственно, от него нужно?» — спросил он себя почти вслух от страха. И должен был признаться себе, что его жестокость и чувственность никакой настоящей цели совсем не имели. Он пришел бы в замешательство, если бы действительно бросился на Базини. Он же не хотел бить его? Боже упаси! Каким же образом должно было уняться его чувственное возбуждение? Он невольно почувствовал отвращение, подумав о разных мальчишеских пороках. Так позориться перед другим человеком? Никогда!..

Но по мере того как росло это отвращение, усиливалось и стремление пойти к Базини. Наконец Тёрлес целиком проникся сознанием бессмысленности такой затеи, но какая-то поистине физическая сила, казалось, тянула его, словно за веревку, с кровати. И в то время как все картины уходили у него из головы и он твердил себе, что самое лучшее сейчас — это постараться уснуть, он машинально приподнялся на своем ложе. Приподнялся очень медленно прямо-таки чувствуя, как эта внутренняя сила лишь мало-помалу оттесняет препятствия. Сначала оперся на локоть, затем высунул из-под одеяла колено... затем... он вдруг босиком, на цыпочках, подбежал к Базини и сел на край его кровати.

Базини спал.

Вид у него был такой, словно ему снилось что-то приятное.

Тёрлес все еще не управлял своими действиями. Несколько мгновений он просидел тихо, уставившись в лицо спящего. В мозгу его мелькали те короткие, отрывочные мысли, как бы лишь контрастирующие ситуацию, которые приходят, когда теряешь равновесие, падаешь или когда у тебя вырывают из рук какой-то предмет. И, не опомнившись, он схватил Базини за плечо и растормошил.

Спавший несколько раз вяло потянулся, затем приподнялся и посмотрел на Тёрлеса сонными глазами.

Тёрлес испугался; он был в полном смятении; его поступок впервые дошел до его

сознания, и он не знал, что делать теперь. Ему было ужасно стыдно. Сердце громко стучало. На языке вертелись слова объяснения, отговорки. Он хотел спросить Базини, нет ли у него спичек, не может ли он сказать, который сейчас час...

Базини смотрел на него все еще непонимающе.

Тёрлес уже отнял руку, не выдавив из себя ни слова, уже соскользнул с кровати, чтобы бесшумно юркнуть в свою постель, — и тут Базини, кажется, уразумел ситуацию и выпрямился одним рывком.

Тёрлес нерешительно остановился у изножья кровати. Базини еще раз посмотрел на него вопросительным, испытующим взглядом, затем совсем поднялся с постели, накинул шинель, сунул ноги в домашние туфли и, шаркая ими, пошел вперед.

Тёрлесу мгновенно стало ясно, что это случается не в первый раз.

Проходя мимо, он захватил ключ от клетушки, который был спрятан у него под подушкой...

Базини шагал прямоком к чердачной каморке. Он успел, казалось, хорошо усвоить дорогу, которую тогда ведь еще утаивали от него. Он поддержал ящик, когда Тёрлес влезал на него, он отодвигал кулисы в сторону, осторожно, сдержанными движениями, как вышколенный лакей.

Тёрлес отпер дверь, и они вошли. Он стал спиной к Базини и зажег фонарик.

Когда он обернулся, Базини стоял перед ним нагишом.

Он невольно сделал шаг назад. Внезапное зрелище этого голого, белого, как снег, тела, за которым красный цвет стен превращался в кровь, ослепило и потрясло его. Базини был хорошо сложен; в его теле не было почти ничего от мужских форм, в нем была целомудренная, стройная, девичья худощавость. И Тёрлес почувствовал, как от вида этой наготы загораются белым пламенем его нервы. Он не мог уйти от власти этой красоты. Он не знал раньше, что такое красота. Ведь что ему в его возрасте было искусство, что он, в сущности, знал о нем?! Оно ведь любому выросшему на вольном воздухе человеку до известного возраста непонятно и скучно!

А тут оно пришло к нему дорогой чувственности. Тайно нагрянуло. Одурающее, теплое дыхание шло от обнаженной кожи, мягкая, сладострастная угодливость. И все же было в этом что-то такое торжественное и покоряющее, что хотелось молитвенно сложить руки.

Но после первого изумления Тёрлес устыдился и того и другого. «Он же мужчина!» Эта мысль возмутила его, но у него было такое ощущение, словно и девушка не была бы иной.

Устыдившись, он прикрикнул на Базини:

— Ты что? Ну-ка, сейчас же!..

Теперь, казалось, смутился тот; медля и не спуская глаз с Тёрлеса, он поднял с пола шинель.

— Садись! — приказал Тёрлес Базини. Тот повиновался. Тёрлес прислонился к стене скрещенными за спиной руками.

— А почему ты разделся? Чего ты хотел от меня?

— Ну, я думал... Заминка.

— Что ты думал? — Другие...

— Что другие?

— Байнеберг и Райтинг...

— Что Байнеберг и Райтинг? Что они делали? Ты должен все рассказать мне! Я так хочу — понятно? Хотя я и слышал это уже от других.

Тёрлес покраснел от этой неуклюжей лжи. Базини кусал губы.

— Ну, долго еще?

— Нет, не требуй, чтобы я рассказывал! Пожалуйста, не требуй этого! Я ведь сделаю все, что ты захочешь. Но не заставляй меня рассказывать... О, у тебя такой особый способ мучить меня!..

Ненависть, страх и мольба боролись в глазах Базини. Тёрлес невольно уступил.

— Я вовсе не хочу тебя мучить. Я хочу только, чтобы ты сам сказал полную правду. Может быть, в твоих же интересах.

— Но я же не делал ничего, что стоило бы особо рассказывать.

— Вот как? А почему же ты тогда разделся?

— Они требовали этого.

— А почему ты делал то, что они требовали? Ты, значит, трус? Жалкий трус?

— Нет, я не трус! Не говори так!

— Заткнись! Если ты боишься получить от них взбучку, то тебе невредно было бы получить ее и от меня!

— Да не боюсь я никакой взбучки.

— Вот как? А чего же?

Тёрлес опять говорил спокойно. Его уже коробило от собственной грубой угрозы. Но она вырвалась у него невольно, только потому, что ему показалось, что Базини ведет себя с ним вольнее, чем с другими.

— А если ты, как ты говоришь, не боишься, то в чем же дело?

— Они говорят, что если я буду им подчиняться, то через некоторое время мне все простят.

— Они оба?

— Нет, вообще.

— Как могут они это обещать? Есть ведь еще и я!

— Об этом уж они позаботятся, говорят они!

Это подействовало на Тёрлеса, как удар. Ему вспомнились слова Байнеберга, что при случае Райтинг обошелся бы с ним в точности так же, как с Базини. А если бы дело и впрямь дошло до интриги против него, как следовало бы ему действовать? В таких вещах он не мог тягаться с ними обоими, насколько далеко зашли бы они? Как с Базини?.. Все в нем восставало против этой язвительной мысли.

Несколько минут протекло между ним и Базини. Он знал, что ему недостает отваги и выдержки для таких козней, но только потому, что они слишком мало интересовали его, потому что он никогда не участвовал в них всей душой. Тут ему всегда приходилось больше проигрывать, чем выигрывать. Но случись однажды иначе, у него, чувствовал он, появилось бы и совсем другое упорство, совсем другая храбрость. Только следовало знать, когда надо все поставить на карту.

— Они говорили тебе подробнее?.. как это они представляют себе?.. насчет меня?

— Подробнее? Нет. Они говорили только, что уж позаботятся.

Однако... Опасность была налицо... она где-то затаилась... и поджидала Тёрлеса; каждый шаг мог завести в капкан, каждая ночь могла быть последней перед боями. Огромная ненадежность заключалась в этой мысли. Это было уже совсем не то, что спокойно отдаваться течению, совсем не то, что играть с загадочными видениями: это имело твердые углы и было осязаемой реальностью.

Разговор возобновился.

— А что они делают с тобой? Базини промолчал.

— Если ты всерьез хочешь исправиться, ты должен сказать мне все.

— Они заставляют меня раздеваться.

— Да, да, это я видел же... а потом?..

Прошло несколько мгновений, и вдруг Базини сказал:

— Разное.

Он сказал это с женственной блудливой интонацией.

— Ты, значит, их... любов... ница?

— О нет, я их друг.

— Как ты смеешь это говорить!

— Они сами это говорят. — Что?..

— Да, Райтинг.

— Вот как, Райтинг?

— Да, он очень любезен со мной. Обычно я должен, раздевшись, читать ему что-нибудь из книг по истории; о Риме и римских императорах, о семействе Борджиа, о Тимурхане... ну, тебе уже ясно, все такое кровавое, с таким размахом. Тогда он бывает даже ласков со мной.

— А после он обычно бьет меня...

— После чего?! Ах, вот как!

— Да. Он говорит, что если бы не бил меня, то непременно думал бы, что я мужчина, а тогда он и не смог бы быть со мной таким мягким и ласковым. А так, мол, я его вещь, и тут он не стесняется.

— А Байнеберг?

— О, Байнеберг ужасен. Ты не замечал, как отвратительно пахнет у него изо рта?

— Замолчи! Не твое дело, что я замечаю! Расскажи, чем Байнеберг занимается с тобой!

— Ну, тоже, как Райтинг, только... Но не ругайся опять...

— Говори.

— Только... другим, обходным путем. Он сперва читает мне длинные лекции о моей душе. Я ее замарал, но как бы лишь первое ее преддверие. По отношению к глубинному это нечто ничтожное и внешнее. Только это надо умертвить. Так уже многие превратились из грешников в святых. Грех поэтому в высшем смысле не так уж плох. Только его нужно довести совсем до крайности, чтобы он изжил себя. Байнеберг заставляет меня сидеть и глядеть на шлифованное стекло.

— Он гипнотизирует тебя?

— Нет, он говорит, что ему надо лишь усыпить и сделать бессильным все, что плавает на поверхности моей души. Только тогда он может войти в общение с самой душой.

— И как же он общается с ней?

— Это эксперимент, который ему еще ни разу не удавался. Он сидит, а я ложусь на пол, чтобы он мог поставить ноги на мое туловище. После стекла я становлюсь довольно вялым и сонным. Потом он вдруг приказывает мне лаять. Он дает подробные указания: тихо, больше скулежа, — как лает собака со сна.

— Зачем это?

— Неизвестно зачем. Он заставляет меня еще хрюкать, как свинья, и все повторяет мне, что во мне есть что-то от этого животного. Но не то чтобы он ругал меня, нет, он повторяет это очень тихо и ласково, чтобы — как он говорит — хорошенько вдолбить это в мои нервы. Ведь он утверждает, что таковым было, возможно, одно из моих прежних существований и что его нужно выманить, чтобы обезвредить.

— И ты во все это веришь?

— Упаси Боже. По-моему, он сам в это не верит. Да и он под конец всегда совсем другой. Как можно верить в такие вещи? Кто верит сегодня в какую-то душу?! А тем более в такое переселение душ?! Что я провинился, я прекрасно знаю. Но я всегда надеялся загладить свою вину. Для этого вовсе не нужно никаких фокусов. И я совсем не ломаю себе голову по поводу того, как меня угораздило совершить подобный проступок. Такие вещи делаются быстро, сами собой, лишь потом замечаешь, что сделал какую-то глупость. Но если ему доставляет удовольствие искать за этим чего-то сверхчувственного, то, по мне, на здоровье. Ведь пока я должен подчиняться ему. Вот если бы он перестал колоть меня... — Что?

— Да, иголкой — ну, несильно, только чтобы посмотреть, как я на это реагирую... не будет ли что-нибудь заметно в каком-либо месте тела. Но все же больно. Он утверждает, что врачи в этом ничего не смыслят. Я не запомнил, чем он это доказывает, помню только, что он много говорит о факирах, которые, когда они смотрят в свою душу, будто бы не воспринимают физической боли.

— Ну да, я знаю эти идеи. Но ты же сам сказал, что это не все!

— Конечно, нет. Но я же сказал, что считаю это лишь обходным путем. Потом каждый

раз следует четверть часа, когда он молчит, и я не знаю, что происходит в нем. А затем он вдруг поднимается и требует от меня услуг — как одержимый — гораздо хуже, чем Райтинг.

— И ты делаешь все, что от тебя требуют?

— Что мне остается? Я хочу снова стать порядочным человеком и чтобы меня оставили в покое.

— А то, что тем временем произошло, тебе будет совершенно безразлично?

— Я же ничего не могу поделать.

— Теперь хорошенько послушай и ответь на мои вопросы. Как ты мог красть?

— Как? Понимаешь, мне до зарезу нужны были деньги. Я задолжал трактирщику, и он не давал мне больше отсрочки. К тому же я был уверен, что деньги мне вот-вот пришлют. Никто из товарищей не давал мне займы; у одних не было и у самих, а бережливые просто ведь рады, если кто-то, кто не скупится, оказывается к концу месяца в затруднительном положении. Я, конечно, не хотел никого обманывать, я хотел только тайком взять в долг...

— Не то я имею в виду, — нетерпеливо прервал Тёрлес этот явно облегчавший Базини рассказ, — я спрашиваю: как... каким образом ты смог это сделать, как ты себя чувствовал? Что происходило в тебе в этот миг?

— Ну, да... ничего. Это же был только миг, я ничего не почувствовал, ничего не обдумал. Это просто случилось вдруг.

— А первый раз с Райтингом? Когда он впервые потребовал от тебя этих вещей? Понимаешь?..

— О, неприятно-то это уж было. Потому что все происходило по приказу. Ведь вообще... подумай, сколько людей делают такие дела добровольно, для удовольствия, а другие об этом не знают. Тогда это, вероятно, не так скверно.

— Но ты делал это по приказу. Ты унижался. Как если бы ты полез в дерьмо, потому что так захотел другой.

— Это я признаю. Но я был вынужден.

— Нет, ты не был вынужден.

— Они бы избили меня, донесли на меня. Весь позор пал бы на меня.

— Ну, ладно, оставим это. Я хочу узнать от тебя нечто другое. Слушай, я знаю, что ты оставлял много денег у Божены. Ты хвастался передней, хорохорился, бахвалился своей мужественностью. Ты, значит, хочешь быть мужчиной? Не только речами и... но и всей душой? Ну вот, и вдруг кто-то требует от тебя таких унижительных услуг, ты в тот же миг чувствуешь, что ты слишком труслив, чтобы сказать «нет», — не прошла ли тут какая-то трещина через все твоё существо? Какой-то ужас — неопределенный, — словно в тебе только что совершилось что-то невыразимое?

— Господи, я не понимаю тебя. Я не знаю, чего ты хочешь. Я не могу сказать тебе ничего, совсем ничего.

— Ну, так слушай. Я сейчас прикажу тебе снова раздеться.

Базини улыбнулся.

— Лечь ничком на землю передо мной. Не смейся! Я действительно приказываю это тебе! Слышишь?! Если ты сейчас же не повинешься, увидишь, что с тобой будет, когда вернется Райтинг!.. Так. Видишь, теперь ты лежишь голый передо мной на земле. Ты даже дрожишь. Тебе холодно? Я мог бы сейчас плюнуть на твоё голое тело, если бы захотел. Прижмись плотней головой к земле. Не странно ли выглядит пыль на полу? Как пейзаж с облаками и скалами высотой с дом? Я мог бы колоть тебя иголками. Там, в нише, возле фонаря, есть еще несколько. Ты же чувствуешь их кожей?.. Но я не хочу... я мог бы заставить тебя лаять, как это делает Байнеберг, жрать пыль, как свинья, мог бы заставить тебя делать движения — сам знаешь, — и ты должен был бы в лад им стонать: о моя мамоч... — Тёрлес, однако, резко оборвал эти поношения. Но я не хочу, не хочу, понимаешь?! Базини заплакал:

— Ты мучишь меня...

— Да, я мучу тебя. Но не это мне нужно. Я только одно хочу знать. Когда я все это

вонзаю в тебя, как нож, что происходит в тебе? Что творится в тебе? В тебе что-то разбивается? Скажи! Стремительно, как стекло, которое вдруг разлетается на тысячи осколков, прежде чем на нем покажется трещина? Твой образ, который сложился у тебя, — не гаснет ли он, словно от одного дуновения? Не выскакивает ли на его место другой, как выскакивают из темноты картины волшебного фонаря? Неужели ты совсем не понимаешь меня? Точнее я это не могу тебе объяснить. Ты должен сам мне сказать!..

Базини плакал, не переставая. Его девические плечи дрожали; он твердил только одно и то же:

— Я не знаю, чего ты хочешь! Я не могу тебе ничего объяснить. Это происходит сейчас. Это и тогда не может происходить иначе. Ты поступил бы так же, как я.

Тёрлес молчал. Изнуренный, он неподвижно стоял, прислонясь к стене, и смотрел прямо перед собой в пустоту.

«Окажись ты в моем положении, ты поступил бы так же», — сказал Базини. Случившееся принималось им как простая неизбежность, спокойно и искаженно.

Тёрлесовское чувство собственного достоинства с великим презрением бунтовало даже против самого такого допущения. И все же этот бунт всего его естества не казался ему достаточной гарантией. «...Да, у меня характер оказался бы тверже, чем у него, я бы таких допущений не потерпел — но разве это важно? Разве важно то, что я по своей твердости, по своей порядочности, сплошь по причинам, которые сейчас для меня совсем несущественны, поступил бы иначе? Нет, дело не в том, как я поступил бы, а в том, что если бы я действительно поступил, как Базини, я бы, как и он, не усматривал в этом ничего чрезвычайного. Вот в чем суть: мое самоощущение было бы точно таким же простым и далеким от всего сомнительного, как самоощущение Базини...»

Эта мысль — она думалась отрывочными, захлестывавшими друг друга, все снова и снова начинавшимися сначала фразами, — мысль эта, дополнявшая презрение к Базини какой-то очень интимной, тихой, но гораздо глубже, чем то смогла бы мораль, затрагивающей душевное равновесие болью, мысль эта пришла от памяти об одном только что испытанном ощущении, которое не отпускало Тёрлеса. Когда он узнал от Базини об опасности, грозившей ему, возможно, со стороны Райтинга и Байнеберга, он просто испугался. Просто испугался, как при нападении, и мгновенно, не размышляя, стал искать защиты и укрытий. Было это, значит, в момент действительной опасности; и ощущение, испытанное при этом, возбуждало его. Эти быстрые, бездумные импульсы. Он тщетно пытался снова вызвать их в себе. Но он знал, что они мгновенно лишили опасность всякой странности и двусмысленности.

И все-таки это была бы та же опасность, которую он не далее как несколько недель назад почувствовал на этом же месте. Тогда, когда он пришел в такой странный испуг из-за каморки, которая, как забытое средневековье, таилась вдали от теплой и светлой жизни, учебных залов, и из-за Байнеберга и Райтинга, потому что те из людей, которыми они там были, вдруг стали, казалось, чем-то другим, чем-то мрачным, кровожадным, лицами совсем из другой жизни. Тогда это было для Тёрлеса метаморфозой, прыжком, словно картина его окружения вдруг предстала другим, проснувшимся от столетнего сна глазам.

И все-таки это была та же опасность... Он непрестанно повторял себе это. И снова пытался сравнить друг с другом воспоминания об этих двух разных ощущениях...

Базини тем временем давно поднялся; он заметил ословелый, отсутствующий взгляд своего спутника, тихо собрал свою одежду и улизнул.

Терлее видел это — как сквозь туман, — но не сказал ни слова.

Внимание его было целиком поглощено стремлением снова отыскать в себе ту точку, где вдруг произошла та перемена внутренней перспективы.

Но как только он приближался к ней, с ним происходило то, что происходит при сравнении близкого с далеким: он никак не мог поймать запомнившиеся образы своих чувств одновременно, каждый раз словно бы каким-то тихим щелчком вторгалось чувство, которое в физическом мире соответствует примерно едва заметным мышечным ощущениям,

сопровождающим настройку взгляда. И каждый раз это в решающий миг отвлекало все внимание на себя, работа сравнения заслоняла собою предмет сравнения, происходил едва ощутимый толчок — и все останавливалось.

И снова, и снова Тёрлес начинал все сначала.

Этот механически однообразный процесс усыпил его, привел в ледяное оцепенение полусна, который долго держал его в неподвижности. Неопределенно долго.

Разбудила Тёрлеса одна мысль — как тихое прикосновение теплой руки. Такая с виду естественная мысль, что Тёрлес удивился, что давно не напал на нее.

Мысль, которая всего-навсего регистрировала только что узнанное: простым, неискаженным, в естественных, обыденных пропорциях приходит всегда то, что издали кажется таким большим и таинственным. Словно вокруг человека проведена невидимая граница. То, что готовится вне его и приближается издали, — оно как туманное море, полное исполинских, меняющихся обличий; то, что подступает к нему, становится действием, сталкивается с его жизнью, — оно ясно и мало, имеет человеческие измерения и человеческие очертания. А между жизнью, которой живешь, и жизнью, которую чувствуешь, предчувствуешь, видишь издали, встает, как узкая дверь, где образы событий должны сжаться, чтобы войти в человека, эта невидимая граница.

И все же, хотя это как нельзя более соответствовало его опыту, Тёрлес задумчиво склонил голову. «Странная мысль...», — почувствовал он.

Наконец он лежал в своей постели. Он уже ни о чем больше не думал, ибо это давалось с таким трудом и было так бесплодно. То, что он узнал о тайнах своих друзей, хоть и мелькало в его уме, но так же безразлично и безжизненно, как новость, прочитанная в какой-то чужой газете.

От Базини уже нечего было ждать. Однако сама проблема!.. Но она была так запутана, а он так устал и так разбит. Может быть, все это — иллюзия.

Только зрелище Базини, его светящейся наготы, благоухало, как куст сирени, в сумраке ощущений, который предшествовал сну. Даже всякое нравственное отвращение ушло. Наконец Тёрлес уснул.

Никакие сны не нарушали его покоя. Но бесконечно приятное тепло расстилало мягкие ковры под его телом. В конце концов он проснулся из-за этого. И чуть не вскрикнул. У его кровати сидел Базини! И с бешеным проворством тот в следующее мгновение снял рубашку, подлез под одеяло и прижал к Тёрлесу свое голое, дрожащее тело.

Едва придя в себя от этого нападения, Тёрлес оттолкнул от себя Базини.

— Ты что?..

Но Базини взмолился.

— О, не будь снова таким! Таких, как ты, больше нет. Они презирают меня не так, как ты. Они делают это только для вида, чтобы самим казаться совсем другими. Но ты? Именно ты?! Ты даже младше меня, хотя и сильнее... мы оба младше, чем другие... ты не такой грубый, не такой хвастливый, как они... ты ласковый, я люблю тебя!

— Что — что ты говоришь? Что мне с тобой делать? Ступай — сейчас же ступай отсюда!

И Тёрлес страдальчески уперся рукой в шею Базини. Но горячая близость мягкой чужой кожи преследовала его, охватывала, душила. И Базини скороговоркой зашептал:

— Да... да... пожалуйста... о, мне было бы наслаждением тебе услужить...

Тёрлес не находил ответа. Пока Базини говорил, в эти секунды сомнения и размышления его органы чувств опять как бы затопило густо-зеленое море. Лишь быстрые слова Базини вспыхивали в нем, как сверканье серебряных рыбок.

Он все еще упирался руками в туловище Базини. Но их обволакивало как бы влажным, тяжелым теплом, их мускулы ослабели; он забыл о них... Только когда до него дошло какое-то новое из этих трепещущих слов, он очнулся, потому что почувствовал, как что-то ужасное, непостижимое, что только что — словно во сне — его руки притянули к себе Базини.

Он хотел встрепенуться, крикнуть себе: Базини обманывает тебя, он хочет только стянуть тебя вниз к себе, чтобы ты уже не мог презирать его. Но крик этот захлебнулся. Во всем просторном доме стояла мертвая тишина; во всех коридорах, казалось, неподвижно уснули темные потоки молчания.

Он хотел найти самого себя, но они, как черные сторожа, заградили все двери.

Тёрлес уже не искал слов. Чувственность, которая мало-помалу прокрадывалась в него из отдельных мгновений отчаянья, проснулась теперь в полном своем объеме. Она лежала рядом с ним голая и закрывала ему голову своим мягким черным плащом. И нашептывала ему на ухо сладостные слова смирения, и отметала своими теплыми пальцами, как пустые, все вопросы и все задачи. И шептала: в одиночестве позволено все.

Лишь в мгновение, когда его захватило, он на миг очнулся и отчаянно уцепился за одну мысль: это не я!.. не я!.. Завтра я опять буду собой!.. Завтра...

Во вторник вечером вернулись первые воспитанники. Другая часть прибыла лишь с ночными поездами. В доме царил суматоха.

Тёрлес встретил своих друзей неприветливо и хмуро; он все помнил. К тому же они принесли с собой из внешнего мира какую-то свежесть и светскость. Это заставляло его, любившего теперь спертый воздух тесных комнат, испытывать чувство стыда.

Ему теперь вообще часто бывало стыдно. Но не из-за того, в сущности, на что он дал себя совратить — ведь это в закрытых заведениях не такая уж редкость, — а потому, что он действительно не мог избавиться от какой-то нежности к Базини, а с другой стороны, острее, чем когда-либо, чувствовал, в каком презрении и унижении пребывал этот человек.

У него часто бывали тайные встречи с ним. Он водил его во все закоулки, которые знал благодаря Байнебергу, и так как сам он не отличался ловкостью при таких тайных походах, Базини сориентировался быстрее и вскоре стал вожаком.

А ночами ему не давала покоя ревность, с какой он следил за Байнебергом и Райтингом.

Оба, однако, держались в стороне от Базини. Может быть, он им уже наскучил. Во всяком случае, с ними как будто произошла какая-то перемена. Байнеберг был мрачен и замкнут; когда он говорил, то это бывали обычные таинственные намеки на что-то предстоящее. Райтинг, казалось, направил свой интерес уже на что-то другое; с привычной ловкостью плел он сеть какой-то интриги, стараясь задобрить одних мелкими любезностями и запугать других тем, что с помощью тайной хитрости завладел их секретом.

Когда они собрались втроем, оба настаивали на том, чтобы вскоре опять вызвать Базини в клетушку или на чердак.

Тёрлес пытался под всякими предлогами отложить это, но сам страдал от такого тайного участия.

Еще несколько недель назад он вообще не понял бы подобного состояния, будучи от природы силен, здоров и безыскусствен.

Но и правда не следует думать, что Базини вызывал у Тёрлеса настоящее и — при всей мимолетности и сумбурности — истинное вожделение. В нем хоть и проснулось какое-то подобие страсти, но назвать это любовью можно было, конечно, лишь случайно, вскользь, и, как человек, Базини был не более чем заменительной и временной целью этой потребности. Ибо хотя Тёрлес и был с ним в близких отношениях, его, Тёрлеса, желание никогда не насыщалось им, а возрастало в новый, нецеленаправленный голод, выходивший за пределы Базини.

Ослепила его сперва вообще только нагота стройного отроческого тела.

Впечатление было таким же, как если бы перед ним предстали только красивые, еще далекие от всего связанного с полом формы совсем юной девушки. Потрясение. Изумление. И чистота, невольно исходившая от такого состояния, она-то и внесла в его отношение к Базини иллюзию влечения, это новое, дивно-беспокойное чувство. А все прочее имело мало общего с этим. Это остальное, входящее в вожделение, присутствовало уже давно — уже в отношениях с Боженой и еще гораздо раньше. Это была тайная, нецеленаправленная, ни к

чему не относящаяся, меланхолическая чувственность созревания, подобная влажной, черной, плодородной земле весной и темным подземным водам, которым нужен только случайный повод, чтобы прорваться через свои преграды.

Явление, пред ставшее Тёрлесу, стало таким поводом. Неожиданность, непонятность, недооцененность этого впечатления распахнула тайники, где собралось все скрытое, запретное, душное, смутное и одинокое, что было в душе Тёрлеса, и направила эти темные чувства на Базини. Ибо тут они сразу напали на что-то теплое, что дышало, благоухало, было плотью, что придавало этим туманным мечтам какие-то очертания и отдавало им часть своей красоты вместо того глумливого безобразия, которым их в одиночестве бичевала Божена. Это одним махом открыло им дверь к жизни, и все смешалось в возникшем полумраке — желания и действительность, буйные фантазии и впечатления, еще сохранявшие теплые следы жизни, ощущения, шедшие извне, и пламя, которое рвалось изнутри им навстречу и, охватив, изменяло их до неузнаваемости.

Но для самого Тёрлеса все это было уже неразлично, соединялось в одном-единственном, неясном, нерасчлененном чувстве, которое он в первом изумлении вполне мог принять за любовь.

Вскоре, однако, он научился оценивать это правильнее. С этой поры его не отпускало какое-то беспокойство. Едва дотронувшись до какой-нибудь вещи, он тут же клал ее на место. При любом разговоре с товарищами он без причины умолкал или в рассеянности неоднократно менял тему. Случалось также, что среди речи его захлестывала волна стыда, отчего он краснел, начинал заикаться, отворачиваться...

Он избегал днем Базини. Если ему случалось все же взглянуть на него, его почти всегда охватывало какое-то отрезвление. Каждое движение Базини наполняло его отвращением, расплывчатые тени его иллюзий уступали место холодной, тупой ясности, душа его, казалось, сжималась настолько, что ничего уже не оставалось, кроме воспоминания о прежнем вожделении, которое представлялось ему донельзя неразумным и отвратительным. Он топал ногой и скрючивался, только чтобы избавиться от этого мучительного стыда.

Он спрашивал себя, что сказали бы ему другие, узнай они его тайну, родители, учителя?

Но эта последняя мысль, как правило, прекращала его муки. Им овладевала прохладная усталость; его горячая и одрябнувшая кожа снова напрягалась в приятном ознобе. Тогда он всех тихо пропускал мимо. Но ко всем испытывал какое-то неуважение. Втайне он подозревал всех, с кем говорил, в самых скверных делах.

А сверх того, ему недоставало в других стыда. Он не думал, что они так страдали, как это он знал о себе. Терновый венец его угрызений совести у них, казалось, отсутствовал.

А себя он чувствовал так, словно очнулся от глубокой агонии. Так, словно его коснулись потаенные руки распада. Так, словно не мог забыть тихую мудрость долгой болезни.

В этом состоянии он чувствовал себя счастливым, и то и дело повторялись мгновения, когда он о нем тосковал.

Начинались они с того, что он снова мог равнодушно глядеть на Базини и с улыбкой выдерживал отвратительное и низкое. Тогда он знал, что унизится, но вкладывал в это новый смысл. Чем гнуснее и недостойнее было то, что ему предоставлял Базини, тем больше был контраст с тем чувством страдающей утонченности, которое обычно появлялось потом.

Тёрлес удалялся в какой-нибудь уголок, откуда мог вести наблюдение, оставаясь невидимым. Когда он закрывал глаза, в нем поднималось какое-то неясное теснение, а когда он открывал их, не находил ничего, что мог бы с этим сравнить. А потом вдруг вырастала мысль о Базини и все тянула к себе. Вскоре она теряла всякую определенность. Казалось, она уже не принадлежала Тёрлесу и уже, казалось, не относилась к Базини. Вокруг нее шумели чувства, как похотливые женщины в доверху закрытых одеждах, укрытые под масками.

Ни одного Тёрлес не знал по имени, ни об одном не знал, что скрыто за ним; но в этом-то как раз и был пьянящий соблазн. Он уже не знал себя самого; и из этого как раз и

вырастало его желание дикого, презрительного распутства, как на галантном празднике, когда вдруг погаснут огни и никто уже не знает, кого он тянет на землю и осыпает поцелуями.

Тёрлес стал позднее, когда преодолел события своей юности, молодым человеком с очень тонким и чувствительным умом. Он принадлежал тогда к тем эстетически-интеллектуальным натурам, которым следование законам, а отчасти, пожалуй, и общественной морали дает некое успокоение, избавляя их от необходимости думать о чем-то грубом, далеком от душевных тонкостей, к натурам, которые, однако, соединяют какое-то скучающее безразличие с этой большой внешней, немного ироничной корректностью, стоит лишь потребовать от них более личного интереса к ее объектам. Ибо этот действительно захватывающий их интерес сосредоточен у них исключительно на росте души, духа или как там назвать то, что то и дело умножается в нас от какой-нибудь мысли между словами книги или перед замкнутыми устами картины; то, что подчас пробуждается, когда какая-то одинокая, своенравная мелодия дергает ту тонкую красную нить, нить нашей крови, которую она за собой тянет; но что всегда исчезает, когда мы пишем канцелярские бумаги, строим машины, ходим в цирк или занимаемся сотнями других подобных дел...

Предметы, стало быть, вызывающие лишь к их моральной корректности, этим людям в высшей степени безразличны. Поэтому в позднейшей своей жизни Тёрлес и не сожалел о том, что случилось тогда. Его потребности обладали такой односторонне эстетической сосредоточенностью, что если бы, например, ему рассказали очень похожую историю о распутстве какого-нибудь развратника, ему наверняка и в голову не пришло бы направить свое возмущение против случившегося. Он презирал бы такого человека как бы не за то, что он развратник, а потому, что он ничего лучшего не представляет собой; не за его распутство, а за то психологическое состояние, которое заставляет его распутничать; потому что он глуп или потому, что его разум не знает психологического противовеса... — во всех случаях, стало быть, только за тот грустный, ущербный, жалкий вид, в котором он предстает. И он презирал бы его одинаково независимо от того, состоял ли бы его порок в половом распутстве, или в маниакальном курении, или в алкоголизме.

И как для всех, кто настолько сосредоточен исключительно на развитии своего ума, для него само существование душевных и бурных чувств еще мало что значило. Он готов был считать, что способность наслаждаться, художественный талант, всякая утонченная духовная жизнь — это украшение, о которое легко пораниться. Он полагал, что у человека с богатой и подвижной внутренней жизнью непременно должны быть мгновения, когда ему дела нет до других, и воспоминания, которые он хранит в потайных ящиках. И требовал он от него только, чтобы тот впоследствии умел ими тонко пользоваться.

И когда однажды кто-то, кому он поведал историю своей юности, спросил его, не стыдно ли бывает порой этого воспоминания, он с улыбкой дал следующий ответ:

— Я, конечно, не отрицаю, что тут было унижение. А почему бы и нет? Оно прошло. Но что-то от него навсегда осталось — та малая толика яда, которая нужна, чтобы отнять у души слишком уверенное и успокоенное здоровье и дать ей взамен более тонкое, обостренное, понимающее.

Смогли бы вы, кстати, сосчитать часы унижения, которые вообще выжигает в душе, как клеймо, каждая большая страсть? Подумайте только о часах нарочитого унижения в любви! Об этих отрешенных часах, когда любящие склоняются над некими глубокими колодцами или прикладывают ухо друг другу к сердцу — не услышат ли там, как когти больших, беспокойных кошек нетерпеливо скребутся о тюремные стены? Только чтобы почувствовать, как дрожишь! Только чтобы испугаться своего одиночества над этими темными, клеймящими безднами! Только чтобы внезапно — в стране одиночества с этими мрачными силами совсем убежать друг в друга!

Загляните-ка в глаза молодым супружеским парам. Ты думаешь?... — написано там, — но ты же не подозреваешь, как глубоко можем мы погрузиться! В этих глазах видна веселая насмешка над тем, кто о стольком не знает, и нежная гордость тех, кто друг с другом прошел

через все круги ада.

И как эти любящие друг с другом, так я тогда прошел через это с самим собой.

Однако, хотя позднее Тёрлес судил так, в ту пору, когда он пребывал в буре одиноких, чувственных ощущений, в нем отнюдь не всегда была эта уверенность, убежденная в благом конце. От загадок, недавно лишь его мучивших, оставался еще смутный отголосок, различимый в глубине происходившего с ним, как глухой далекий звук. Как раз об этом ему не хотелось теперь думать.

Но порой приходилось. И тогда им овладевала глубочайшая безнадежность, и совсем другой, усталый, безысходный стыд охватывал его при этих воспоминаниях.

Однако и в этом стыде он тоже не отдавал себе отчета.

Тому способствовали особые условия училища. Там, где молодые, настойчивые силы сдерживались за серыми стенами, они без разбора заполняли воображение сладострастными картинками, которые у многих отнимали рассудок.

Известная степень распутства считалась даже чем-то мужественным, отважным, смелостью в получении запретных удовольствий. Особенно когда сравнивали себя с почтенно-хилыми по большей части учителями. Ибо тогда призыв к морали приобретал смешную связь с узкими плечами, острыми животиками на тонких ножках и глазками, которые невинными овечками паслись за стеклами своих очков, словно мир не что иное, как поле, полное цветов строгой назидательности.

В конце концов в училище еще не знали жизни и не подозревали обо всех тех градациях от подлости и беспутства до болезни и комизма, которые наполняют взрослого прежде всего отвращением, когда он слышит о подобных вещах.

Все эти тормоза, чью действенность мы и ценить не способны, у него отсутствовали. Он поистине наивно угодил в свои прегрешения.

Ведь и этической сопротивляемости, этой тонкой чувствительности духа, которую он так высоко позднее ценил, у него тогда еще не было. Но она уже давала о себе знать. Тёрлес заблуждался, он видел лишь тени, падавшие от чего-то еще неведомого ему в его сознание, и принимал их ошибочно за действительность, но он должен был выполнить на самом себе некую задачу, некую задачу души, — хотя задача эта была ему еще не по силам.

Он знал только, что последовал за чем-то еще неясным дорогой, которая вела в глубь его души, и он при этом устал. Он привык надеяться на необычайные, тайные открытия, а попал в тесные заколуки чувственности. Не от извращенности, а вследствие бесцельного в данное время состояния души.

И именно эта измена чему-то серьезному, уже достигнутому в себе наполняла его неясным сознанием вины; никогда его полностью не покидало какое-то неопределенное, подспудное отвращение, и смутный страх преследовал его так, словно он не знал в темноте, идет ли он еще своей дорогой или где-то уже потерял ее.

Он старался тогда вообще ни о чем не думать. Он молча и отупело влачил бездумное существование, забывая обо всех прежних вопросах. Тонкое наслаждение своими унижениями случалось все реже и реже.

Оно еще не ушло от него, однако в конце этой поры Тёрлес уже не сопротивлялся, когда принимались дальнейшие решения о судьбе Базини.

Это произошло через несколько дней, когда они втроем собрались в клетушке. Байнеберг был очень серьезен. Начал говорить Райтинг.

— Байнеберг и я считаем, что дальше так быть с Базини нельзя. Он смирился с тем, что обязан нам подчиняться, и уже не страдает от этого. Он нагло фамильярен, как слуга. Пора, значит, двинуться с ним дальше. Ты согласен?

— Я не знаю, что вы хотите с ним сделать.

— Это нелегко и придумать. Нам нужно еще поунижать его и поприжать. Мне интересно, насколько далеко тут можно зайти. Каким образом, это, конечно, другой вопрос. У меня, впрочем, есть на этот счет несколько славных идей. Можем, например, отстегать его кнутом, а он пусть поет при этом благодарственные псалмы. Недурно бы послушать, с каким

выражением он будет петь — по каждому звуку пробегали бы как бы мурашки. Можем заставить его подавать, как собаку, всякую грязную дрянь. Можем взять его к Божене, заставить там читать все письма его матери, а уж тут Божена сумеет нас позабавить. Но все это от нас не уйдет. Мы можем все спокойно обдумать, разработать и найти еще что-нибудь новое. Без соответствующих деталей это пока еще скучно. Может быть, мы вообще выдадим его классу. Это, пожалуй, самое умное. Если каждый из такого множества людей внесет свою долю, пусть маленькую, этого хватит, чтобы растерзать его на части. Мне вообще нравятся эти массовые движения. Никто не хочет особенно усердствовать, и все же волны поднимаются все выше и покрывают всех с головой, увидите, никто не пошевелится, а буря поднимется страшная. Поставить такую сцену — для меня огромное удовольствие.

— Но что вы хотите сделать сначала?

— Я же сказал, мне хотелось бы решить это потом, пока мне хватило бы довести его до того — угрозами и битьем, что он снова согласится на все.

— На что? — вырвалось у Тёрлеса. Они пристально посмотрели друг другу в глаза.

— Ах, не притворяйся, я же прекрасно знаю, что ты об этом осведомлен.

Тёрлес промолчал. Узнал ли Райтинг что-нибудь? Или он только сказал это наугад?

— ... Еще с тех пор. Байнеберг сказал же тебе, на что идет Базини.

Тёрлес облегченно вздохнул.

— Ну, не делай такие большие глаза. Тогда ты тоже их вытаращил, а дело-то не такое уж страшное. Кстати, Байнеберг признался мне, что делает с Базини то же самое.

При этом Райтинг с иронической гримасой взглянул на Байнеберга. Такова была его манера — подставлять ножку другому совершенно открыто и не стесняясь.

Но Байнеберг ничего не ответил; он остался сидеть в своей задумчивой позе и едва приоткрыл глаза.

— Ну, не пора ли тебе выкладывать?! У него, понимаешь, есть одна сумасшедшая идея насчет Базини, и он хочет непременно осуществить ее, прежде чем мы предпримем что-то другое. Но идея очень забавная.

Байнеберг сохранял серьезность; он посмотрел на Тёрлеса настойчивым взглядом и сказал:

— Помнишь, о чем мы говорили тогда за шинелями?

— Да.

— Я больше об этом не заговаривал, потому что от разговоров нет толку. Но я об этом думал — можешь мне поверить — часто. И то, что Райтинг сказал тебе сейчас, правда. Я делал с Базини то же, что он. Может быть, и еще кое-что. Потому что, как я уже сказал, верил, что чувственность — это, возможно, верная дверь. Это был такой опыт. Я не знал другого пути к тому, чего я ищу. Но эта неплановость бессмысленна. Я думал — а ночами думал о том, как заменить ее чем-то систематическим. Теперь я, мне кажется, нашел — как, и мы проделаем этот опыт. Теперь ты тоже увидишь, насколько ты был тогда не прав. Все, что утверждают о мире, сомнительно но, все происходит иначе. Тогда мы узнавали это как бы только с обратной стороны, отыскивая точки, где все это естественное объяснение споткнется о собственные ноги, а теперь я надеюсь, что смогу показать нечто позитивное, нечто другое!

Райтинг раздал чашки с чаем; при этом он с удовольствием толкнул Тёрлеса.

— Следи хорошенько... Он очень лихо придумал. А Байнеберг быстрым движением погасил фонарь.

В темноте только пламя спиртовки бросало беспокойные синеватые блики на три эти головы.

— Я потушил фонарь, Тёрлес, потому что так лучше говорить о таких вещах. А ты, Райтинг, можешь и соснуть, если ты слишком глуп, чтобы понимать всякие сложности.

Райтинг весело рассмеялся.

— Ты, значит, помнишь еще наш разговор. Ты сам тогда выкопал эту маленькую странность в математике. Этот пример, что наша мысль лишена твердой, надежной почвы и

проходит над дырами... Она закрывает глаза, она на миг перестает существовать и все же благополучно переносится на другую сторону. Нам следовало бы, в сущности, давно отчаяться, ибо во всех областях наше знание испещрено безднами, это обломки, дрейфующие в бездонном океане.

Но мы не отчаялись, мы тем не менее чувствуем себя так же уверенно, как на твердой почве. Не будь у нас этого чувства уверенности, надежности, мы бы, отчаявшись в своем разуме, наложили на себя руки. Это чувство сопровождает нас постоянно, оно не дает нам распасться, каждое второе мгновение оно берет наш разум, как малое дитя, на руки, оно защищает его. Отдав себе в этом отчет, мы уже не можем отрицать существование души. Расчленив свою духовную жизнь и познавая недостаточность разума, мы это поистине чувствуем. Чувствуем — понимаешь, — ибо не будь этого чувства, мы бы опали, как пустые мешки.

Мы только разучились обращать внимание на это чувство, а оно — одно из древнейших. Уже тысячи лет назад народы, жившие в тысячах миль друг от друга, знали о нем. Однажды занявшись им, уже нельзя отрицать эти вещи. Однако я не хочу убеждать тебя словами, я скажу тебе только самое необходимое, чтобы ты не был совсем не подготовлен. Доказательство представят факты.

Предположим, что душа существует, тогда само собой разумеется, что у нас не может быть более пылко устремления, чем восстановить утраченный с ней контакт, снова сблизиться с ней, вновь научиться лучше пользоваться ее силами, склонить на свою сторону частицы сверхчувственных сил, дремлющих в ее глубине.

Ибо все это возможно, это уже не раз удавалось; чудеса, святые, индийский священный трепет — это все свидетельства таких явлений.

— Послушай, — вставил Тёрлес, — ты немного подогреваешь в себе эту веру своими речами. Для этого-то тебе и надо было погасить фонарик. Но стал бы ты так говорить, если бы мы сидели сейчас внизу, среди других, учили географию, историю, писали письма домой, а лампы ярко горели бы и мимо скамей, может быть, ходил надзиратель? Не показались бы тебе тогда твои слова немного рискованными, немного самоуверенными, словно мы на особом положении, живем в другом мире, лет на восемьсот раньше?

— Нет, дорогой Тёрлес, я утверждал бы то же самое. Кстати, это твоя ошибка — всегда оглядываться на других. Ты слишком несамостоятелен. Писать письма домой! За такими делами ты думаешь о своих родных! Кто тебе сказал, что они вообще способны понять нас? Мы молодые, мы следующее поколение, может быть, нам уготованы вещи, о которых они и не подозревали никогда в жизни. Я, во всяком случае, чувствую это в себе.

Но зачем долго говорить? Я же докажу вам это.

После того как они некоторое время помолчали, Тёрлес сказал:

— Как же ты примешься овладевать своей душой?

— Не буду сейчас это тебе растолковывать, мне же все равно придется сделать это при Базини.

— Но пока хотя бы скажи.

— Ну, ладно. История учит, что для этого есть только один путь погрузиться в себя. Но в том-то и трудность. В старину, например, во времена, когда душа еще выражалась в чудесах, святые могли достичь этой цели усердной молитвой. В те времена душа-то как раз и была иного рода, ибо сегодня этот путь ничего не дает. Сегодня мы не знаем, что нам делать. Душа изменилась, и, к сожалению, прошло много времени с тех пор, как на это не обратили должного внимания, и связь безвозвратно пропала. Новый путь мы можем найти только тщательным размышлением. Этим я усиленно занимался в последнее время. Ближе всего к цели, вероятно, гипноз. Только таких попыток еще не предпринималось. Тут всегда только показывают маленькие, немудреные фокусы, а потому эти методы еще не испытаны, еще неизвестно, ведут ли они к высшему. Последнее, что я скажу об этом уже сейчас, вот что: Базини я буду гипнотизировать не этим общепринятым способом, а своим собственным, который, если не ошибаюсь, походит на способ, уже применявшийся в средневековье.

— Не сокровище ли этот Байнеберг? — засмеялся Райтинг. — Только ему следовало бы жить во времена пророчеств о конце мира, тогда он и впрямь поверил бы, что мир уцелел благодаря его магическим манипуляциям с душой.

Когда Тёрлес после этой насмешки взглянул на Байнеберга, он заметил, что его лицо исказилось, застыв как бы в напряженном внимании. В следующий миг он почувствовал хватку ледяных пальцев. Тёрлес испугался этого повышенного волнения; затем напряжение сжавшей его руки ослабло.

— О, пустяк. Всего только мысль. Мне показалось, что меня осенило, что мелькнуло указание, как это сделать...

— Слушай, ты действительно немного переутомился, — покровительственно сказал Райтинг, — ты же всегда был железный малый и занимался такими вещами только для спорта. А сейчас ты как какая-то баба.

— Ах, что там... ты ведь понятия не имеешь, каково это — знать, до чего близки такие вещи, каждый день ждать, что вот-вот будешь ими владеть!

— Не спорьте, — сказал Тёрлес, за несколько недель он стал гораздо тверже и энергичнее, — по мне, пусть каждый поступает, как хочет. Я ни во что не верю. Ни твоему изощренному мучительству, Райтинг, ни надеждам Байнеберга. А самому мне нечего сказать. Подожду, что вы выкинете.

— Когда же?

Назначили через ночь.

Тёрлес уступил им, не сопротивляясь. В этой новой ситуации его чувство к Базини тоже совсем остыло. Это было даже наилучшее решение, оно, по крайней мере, одним махом освобождало от колебаний между стыдом и вожделением, от которых Тёрлес собственными силами не мог отделаться. Теперь у него было хотя бы прямое, ясное отвращение к Базини, словно уготованные тому унижения еще и марали его.

Вообще же он был рассеян и не хотел ни о чем думать серьезно — особенно о том, что когда-то так его занимало.

Только когда он с Райтингом поднимался по лестнице на чердак, куда Байнеберг уже прошел с Базини, в нем ожило воспоминание о том, что было в нем некогда. У него не выходили из головы самоуверенные слова, которые он бросил по поводу этой истории Байнебергу, и ему страстно хотелось вновь обрести такую уверенность. Медля, он задерживал ногу на каждой ступеньке. Но прежняя уверенность не возвращалась. Хоть он и вспоминал все мысли, которые у него были тогда, они, казалось, проходили мимо где-то вдалеке от него, словно были лишь тенями того, что когда-то думалось.

Наконец, поскольку он ничего в себе так и не нашел, его любопытство снова устремилось к событиям, которые надвигались извне, и погнало его вперед.

Быстрым шагом он поднялся вслед за Райтингом по оставшимся ступенькам.

Когда за ним со скрежетом закрывалась железная дверь, он со вздохом почувствовал, что байнеберговская затея — всего лишь смешной фокус, но зато хотя бы что-то твердое и обдуманное, тогда как в нем самом все неразлично смешалось.

Они сели на одну из поперечных балок — в напряжении ожидая, как в театре.

Байнеберг был уже здесь с Базини.

Обстановка, казалось, благоприятствовала его замыслу. Темнота, затхлый воздух, гнилой, сладковатый запах, исходивший от бочек с водой, создавали чувство погружения в беспробудный сон, усталую, ленивую вялость.

Байнеберг велел Базини раздеться. В этой темноте нагота отдавала мертвенной синевой и нисколько не волновала.

Вдруг Байнеберг вынул из кармана револьвер и направил его на Базини.

Даже Райтинг наклонился вперед, чтобы в любой миг вскочить и вмешаться.

Но Байнеберг улыбался. По сути, криво; словно он вовсе этого не хотел, а лишь под напором каких-то фантастических слов губы его сдвинулись в сторону.

Базини, как подкошенный, упал на колени и широко раскрытыми от страха глазами

глядел на револьвер.

— Встань, — сказал Байнеберг, — если ты точно исполнишь все, что я тебе скажу, с тобой ничего не случится. Но если ты хоть малейшим возражением перебежишь меня, я тебя застрелю. Запомни.

Я, впрочем, и так тебя убью, но ты снова вернешься к жизни. Смерть не так чужда нам, как ты думаешь. Мы умираем каждый день — в глубоком, без сновидений сне.

Рот Байнеберга снова искажала эта неясная улыбка.

— Стань теперь на колени вон там повыше, — на высоте половины их роста проходила широкая горизонтальная балка, — так, прямее... держись совершенно прямо... Втяни живот. А теперь смотри вот сюда. Но не моргая, глаза раскрой как только можешь шире!

Байнеберг поднес к нему огонек спиртовки таким образом, что Базини должен был чуть откинуть назад голову, чтобы хорошенько смотреть во все глаза.

Мало что было видно, но через некоторое время тело Базини словно бы закачалось, как маятник, туда-сюда. Синеватые блики на его коже двигались взад-вперед. Порой Тёрлесу казалось, что он видит перекошенное страхом лицо Базини.

Через некоторое время Байнеберг спросил:

— Ты устал?

Вопрос этот был задан в обычной гипнотизерской манере.

Затем он стал объяснять тихим, приглушенным голосом:

— Умирание — это лишь следствие нашего способа жить. Мы живем от одной мысли к другой, от одного чувства к следующему. Ибо наши мысли и чувства не текут спокойно, как река, а западают в нас, падают в нас, как камни. Если ты хорошенько понаблюдаешь за собой, ты почувствуешь, что душа меняет свои краски не постепенными переходами, а что мысли выскакивают, как цифры, из черной дыры. Сейчас у тебя одна мысль или одно чувство, а вот уже, словно выскочив из ниоткуда, появилось другое. Прислушавшись, ты можешь даже уловить тот миг между двумя мыслями, когда все черно. Этот миг — если только схватить его — для нас равнозначен смерти. Ибо наша жизнь — это не что иное, как расставлять вехи и прыгать от одной к другой, каждый день через тысячи секунд умирания. Мы живем, так сказать, лишь в мгновения покоя. Потому-то мы и испытываем такой смешной страх перед окончательным умиранием, что это просто полное отсутствие вех, бездонная пропасть, куда мы проваливаемся. Для такого способа жить это действительно полное отрицание. Но только с точки зрения такой жизни, только для того, кто не научился чувствовать себя иначе, чем от мгновения к мгновению. Я называю это скачущим злом, и весь секрет в том, чтобы его преодолевать. Надо пробуждать в себе чувство, что твоя жизнь есть нечто спокойно скользящее. В тот момент, когда это удастся, мы к смерти так же близки, как к жизни. Мы уже не живы — по нашим земным понятиям, — но и умереть мы уже не можем, ибо вместе с жизнью уничтожили и смерть. Это миг бессмертия, миг, когда душа выходит из нашего тесного мозга в замечательные сады своей жизни. Итак, теперь точно выполняя все, что я скажу. Усыпи свои мысли, пристально смотри на этот огонек... не перескакивай мыслью с одного на другое... Направь все внимание внутрь... Смотри на пламя... твоё мышление становится похоже на машину, которая движется все медленней... все медленней... медленней... Смотри внутрь... до тех пор, пока не найдешь точку, когда ты ощутишь себя, не ощущая никаких мыслей, никаких чувств... Твое молчание будет мне ответом. Не отклоняй взгляда, направленного внутрь...

Прошло несколько минут.

— Чувствуешь эту точку?..

Нет ответа.

— Слушай, Базини, удалось тебе это?

Молчание.

Байнеберг встал, и его тощая тень вытянулась вверх рядом с балкой. Вверху, опьяненное темнотой, заметно покачивалось тело Базини.

— Повернись в сторону, — приказал Байнеберг. — Слушается сейчас только мозг, —

бормотал он, — который еще некоторое время механически функционирует, пока не сойдут на нет последние следы, отпечатанные на нем душой. Сама она где-то — в следующем своем существовании. Она уже не скована законами природы... — он обращался теперь к Тёрлесу, — она уже не осуждена на наказание придавать тяжесть телу, сохранять его целостность. Наклоняйся вперед, Базини... так... постепенно... туловищем все дальше... как только погаснет последний след в мозгу, мышцы расслабятся, и пустое тело рухнет. Или повиснет. Я этого не знаю. Душа самовольно покинула тело, это не обычная смерть, может быть, тело повиснет в воздухе, потому что ничто, никакая сила, ни жизни, ни смерти, уже не печется о нем... наклоняйся... еще ниже.

В этот миг тело Базини, которое от страха исполнило все приказанья, с грохотом свалилось к ногам Байнеберга.

От боли Базини вскрикнул. Райтинг громко засмеялся. Байнеберг же, отпрянувший на шаг назад, издал гортанный крик ярости, распознав обман. С быстротой молнии он сорвал с себя кожаный пояс, схватил Базини за волосы и стал бешено стегать его. Все невероятное напряжение, в котором он находился, выливалось в эти яростные удары. А Базини вопил под ними от боли, и вопли его отдавались во всех углах, как вой собаки.

В течение всей предшествующей сцены Тёрлес оставался спокоен. Он втайне надеялся, что, может быть, все же случится что-то, что перенесет его снова в утраченный круг чувств. Это была глупая надежда, он сознавал это, но она его все-таки удерживала. Теперь, однако, ему показалось, что все прошло. Эта сцена вызвала у него отвращение. Без каких-либо мыслей; немое, мертвое отвращение.

Он тихо поднялся и, не говоря ни слова, ушел. Не задумываясь.

Байнеберг все еще бил Базини, не щадя сил.

Лежа в постели, Тёрлес почувствовал: конец. Что-то миновало.

В следующие дни он спокойно выполнял свои обязанности в школе; он ни о чем не беспокоился; Райтинг и Байнеберг, возможно, тем временем осуществляли пункт за пунктом свою программу. Тёрлес избегал встречаться с ними.

А на четвертый день, как раз когда никого поблизости не было, к нему подошел Базини. Вид у него был несчастный, лицо побледнело и осунулось, в глазах сверкала лихорадка постоянного страха. Робко оглядываясь, скороговоркой он выпалил:

— Ты должен помочь мне! Только ты можешь! Я долго не выдержу, так они меня мучат. Все прежнее я сносил... но теперь они убьют меня!

Тёрлесу было неприятно что-либо отвечать на это. Наконец он сказал:

— Я не могу тебе помочь. Ты сам виноват во всем, что с тобой происходит.

— Но еще недавно ты был так мил со мной.

— Никогда не был.

— Но...

— Молчи об этом. Это был не я... Мечта... Каприз... Я даже рад, что твой новый позор оторвал тебя от меня... Мне так лучше...

Базини опустил голову. Он почувствовал, что между ним и Тёрлесом пролегло море серого, трезвого разочарования. Тёрлес был холодный, другой.

Тогда он упал перед ним на колени, стал биться головой о пол и кричать:

— Помоги мне! Помоги мне!.. Ради Бога, помоги мне!

Тёрлес помедлил мгновение. В нем не было ни желания помочь Базини, ни достаточно возмущения, чтобы оттолкнуть его от себя. И он послушался первой мелькнувшей у него мысли.

— Приходи сегодня ночью на чердак, я еще раз поговорю с тобой об этом.

В следующий миг он, однако, уже пожалел о сказанном.

«Зачем еще раз трогать это?» — подумалось ему и он, размышляя, сказал:

— Они же увидят тебя. Так нельзя.

— О нет, в прошлую ночь они до утра оставались там со мной... Сегодня они будут спать.

— Ну, что ж. Только не жди, что я тебе помогу.

Тёрлес назначил Базини встречу вопреки своему истинному убеждению. Ибо оно состояло в том, что внутренне все прошло и ничего больше извлечь нельзя. Только какая-то педантичность, какая-то заранее безнадежная, упрямая добросовестность внушила ему еще раз перебрать эти события.

У него была потребность сделать это быстро.

Базини не знал, как ему вести себя. Он был так избит, что еле шевелился. Все индивидуальное, казалось, ушло из него; только какой-то остаток этого, сжавшийся в его глазах, в страхе и мольбе цеплялся за Тёрлеса.

Он ждал, что сделает тот.

Наконец Тёрлес нарушил молчание. Он говорил быстро, скучающе, так, словно надо ради проформы еще раз уладить какое-то давно уже завершенное дело.

— Я не помогу тебе. У меня одно время, правда, был интерес к тебе, но теперь это в прошлом. Ты действительно самый настоящий негодяй и трус. Конечно, самый настоящий. Что уж может еще привязать меня к тебе? Раньше я всегда думал, что найду для тебя какое-то слово, какое-то чувство, которое определит тебя иначе. Но действительно нет лучшего определения, чем сказать, что ты негодяй и трус. Это так просто, так невыразительно, и все-таки ничего больше сказать нельзя. Все другое, чего я раньше хотел от тебя, я забыл, после того как ты влез со своими похотливыми просьбами. Я хотел найти точку, вдали от тебя, чтобы взглянуть на тебя оттуда... в этом был мой интерес к тебе. Ты сам уничтожил его... но довольно, я же не обязан давать тебе объяснения. Только вот что еще: каково тебе сейчас?

— Каково мне может быть? Я не вынесу этого больше.

— Они, наверно, делают теперь с тобой очень скверные вещи и тебе больно?

— Да.

— Просто-напросто боль? Ты чувствуешь, что страдаешь, и хочешь уйти от этого? Совсем просто, без всяких сложностей?

Базини не нашел ответа.

— Ну, да, я спрашиваю так, между прочим, недостаточно точно. Но это ведь все равно. Я с тобой больше не имею дела. Я тебе уже сказал это. Я ничего уже не чувствую в твоём обществе. Делай что хочешь.

Тёрлес хотел уйти.

Тут Базини сорвал с себя одежду и прижался к Тёрлесу. Его тело было исполосовано ссадинами — отвратительно. Движение было жалким, как движение неловкой проститутки. Тёрлес с омерзением отвернулся.

Но едва сделав первые шаги в темноте, он наткнулся на Райтинга.

— Это что, у тебя тайные свидания с Базини? Тёрлес последовал за взглядом Райтинга и оглянулся на Базини. Как раз на том месте, где тот стоял, через слуховое окно падал широкий брус лунного света. Отдававшая синевой кожа в ссадинах походила при этом освещении на кожу прокаженного. Тёрлес невольно попытался извиниться за эту сцену.

— Он попросил меня об этом.

— Чего он хочет?

— Чтобы я защитил его.

— Ну, в таком случае он напал как раз на того, кто нужен.

— Может быть, я все же и сделал бы, но мне наскучила вся эта история.

Неприятно пораженный, Райтинг вскинул глаза, затем злобно набросился на Базини.

— Мы тебе покажем, как секретничать у нас за спиной! Твой ангел-хранитель Тёрлес сам будет при этом присутствовать и позабавится тоже.

Тёрлес уже повернулся было, но из-за этой колкости, явно по его адресу, не раздумывая, задержался.

— Нет, Райтинг, не буду. Не хочу больше иметь с этим дела. Мне все это опротивело.

— Вдруг?

— Да, вдруг. Ведь раньше я за всем этим чего-то искал...

Зачем только это сорвалось у него с языка?!

— Ага, ясновидения...

— Да, именно. А теперь я вижу только, что ты и Байнеберг пошло жестоки.

— О, надо тебе поглядеть, как Базини жрет дерьмо, — неудачно пошутил Райтинг.

— Теперь это меня уже не интересует.

— Но интересовало же...

— Я уже сказал тебе, лишь до тех пор, пока состояние Базини было загадкой для меня.

— А теперь?

— Никаких загадок больше нет. Все бывает — вот и вся мудрость.

Тёрлес удивился, что ему вдруг снова приходят на ум сравнения, приближающиеся к тому утраченному кругу чувств. Когда Райтинг насмешливо ответил: «Ну, за этой мудростью далеко не надо ходить», в нем выиграло поэтому гневное чувство превосходства и подсказало ему резкие слова. Какое-то мгновение он презирал Райтинга до такой степени, что готов был пинать его ногами.

— Можешь смеяться надо мной. Но то, что творите вы, это не что иное, как пустое, скучное, мерзкое мучительство!

Райтинг покосился на прислушивавшегося Базини.

— Придержи язык, Тёрлес!

— Мерзкое, грязное — ты это слышал!

Теперь вскипел и Райтинг.

— Я запрещаю тебе оскорблять нас здесь при Базини!

— Ах, что там. Ты ничего не можешь запретить! Прошло это время. Я когда-то уважал тебя и Байнеберга, а теперь вижу, что вы такое по сравнению со мной. Тупые, гадкие, жестокие дураки!

— Заткнись, Тёрлес, а то...

Райтинг, казалось, хотел броситься на Тёрлеса. Тёрлес отступил на шаг и крикнул ему:

— Думаешь, я буду с тобой драться?! Базини того не стоит. Делай с ним что хочешь, а мне сейчас дай пройти!!

Райтинг, казалось, одумался и отошел в сторону. Он не тронул даже Базини. Но Тёрлес, зная его, понимал, что за спиной у него притаилась какая-то коварная опасность.

Уже на второй день в послеобеденное время Райтинг и Байнеберг подошли к Тёрлесу.

Он заметил злобное выражение их глаз. Байнеберг явно не прощал ему теперь смешного провала своих пророчеств, а к тому же, наверно, был уже обработан Райтингом.

— Ты, как я слышал, поносил нас. Да еще при Базини. С какой стати?

Тёрлес не ответил.

— Ты знаешь, что мы таких вещей не терпим. Но поскольку речь идет о тебе, чьи капризы, к которым мы привыкли, не очень нас задевают, мы это дело замнем. Но одно ты должен исполнить.

Вопреки этим приветливым словам в глазах Байнеберга было какое-то злое ожидание.

— Базини сегодня ночью придет в нашу клетушку. Мы накажем его за то, что он тебя подзуживал. Когда увидишь, что мы уходим, ступай следом.

Но Тёрлес сказал «нет».

— Делайте что хотите, а меня увольте.

— Сегодня ночью мы еще насладимся Базини, завтра мы его выдадим классу, ибо он начинает восставать.

— Делайте что хотите.

— Но ты будешь при этом присутствовать. — Нет.

— Именно при тебе Базини поймет, что ему ничто не поможет, что ничто не защитит его от нас. Вчера он уже отказался выполнять наши приказы. Мы избили его до полусмерти, а он не уступал. Мы должны снова прибегнуть к моральным средствам, унижить его сперва перед тобой, затем перед классом.

— Но я не буду при этом присутствовать!

— Почему?

— Не буду.

Байнеберг перевел дух; казалось, он собирал весь свой яд, затем он подошел к Тёрлесу совсем вплотную.

— Неужели ты думаешь, что мы не знаем — почему? Думаешь, мы не знаем, как далеко ты зашел с Базини?

— Не дальше, чем вы.

— Так. Неужели же он выбрал бы тогда в покровители именно тебя? Что? Неужели бы именно к тебе проникся таким доверием? Ты же не можешь считать нас такими глупенькими.

Тёрлес разозлился.

— Знайте что хотите, только меня избавьте от ваших грязных историй.

— Опять начинаешь грубить?

— Меня от вас тошнит! Ваша подлость бессмысленна! Вот что отвратительно в вас.

— Ну, так слушай. Тебе за многое следовало бы быть нам благодарным. Если ты думаешь, что все-таки сможешь теперь над нами, у которых ты учился, возвыситься, то ты жестоко ошибаешься. Придешь сегодня вечером или нет?!

— Нет!

— Дорогой Тёрлес, если ты восстанешь против нас и не придешь, с тобой будет совершенно так же, как с Базини. Ты знаешь, в какой ситуации застал тебя Райтинг. Этого достаточно. Больше мы сделали или меньше — тебе от этого пользы мало. Мы повернем все против тебя. Ты в таких вещах слишком глуп и нерешителен, чтобы справиться с нами. Итак, если ты вовремя не опомнишься, мы выставим тебя перед классом соучастником Базини. Пусть он тебя тогда защищает. Понятно?

Как буря, прошумел над Тёрлесом этот поток угроз, которые выкрикивали то Байнеберг, то Райтинг, то оба сразу. Когда они ушли, он протер себе глаза, словно это был сон. Но Райтинга он знал. Тот, разозлившись, способен был на любую гнусность, а Тёрлесовские оскорбления и бунт задели его, казалось, глубоко. А Байнеберг? Вид у него был такой, словно он дрожал от годами таившейся ненависти... а все только потому, что осрамился перед Тёрлесом.

Но чем трагичнее сгущались события над его головой, тем безразличнее и машинальнее казались они Тёрлесу. Он боялся угроз. Это да; но ничего сверх того. Опасность втянула его в водоворот реальности.

Он лег в постель. Он видел, как уходили Байнеберг с Райтингом, видел, как устало прошаркал мимо Базини. Сам он с ними не пошел.

Однако его мучили какие-то страхи. Впервые он снова думал о родителях с некоторой теплотой. Он чувствовал, что ему нужна эта спокойная, надежная почва, чтобы укрепить и довести до зрелости то, что до сих пор только смущало его.

Но что это было? У него не было времени думать об этом и размышлять о происшедших событиях. Он чувствовал только страстное стремление вырваться из этой смуты, в нем была тоска по тишине, по книгам. Словно душа его — черная земля, под которой уже шевелятся ростки, а еще неизвестно, как они пробьются. К нему привязался образ садовника, который ежеутренне поливает свои грядки — с равномерной, терпеливой приветливостью. Эта картина не отпускала его, ее терпеливая уверенность, казалось, сосредоточивала всю тоску на себе. Только так надо! Только так! — чувствовал Тёрлес, и через все страхи и все опасения перепрыгивала убежденность, что нужно любыми усилиями достичь этого душевного состояния.

Только насчет того, что должно произойти первым делом, у него еще не было ясности. Ибо прежде всего от этой тоски по мирной созерцательности лишь усиливалось его отвращение к предстоящей игре интриги. Да он и в самом деле боялся подстерегавшей его мести. Если они действительно попытаются очернить его перед классом, то противодействие этому потребует от него огромного расхода энергии, которого ему именно сейчас было жаль.

И потом — стоило ему хотя бы только подумать об этой сумятице, об этой лишенной какого бы то ни было высшего смысла стычке с чужими намерениями и силами воли, его охватывало отвращение.

Тут ему вспомнилось одно давнее письмо, которое он получил из дому. Это был ответ на его письмо родителям, где он тогда как умел сообщал о своем странном душевном состоянии, еще до того, как произошел этот эпизод с чувственностью. То был опять-таки довольно топорный ответ, полный добропорядочной, скучной этики, где ему советовали убедить Базини явиться с повинной, чтобы покончить с этим недостойным, опасным состоянием своей зависимости.

Письмо это Тёрлес позднее читал снова, когда Базини лежал рядом с ним нагишом на мягких одеялах клетушки. И он испытывал особое удовольствие, когда эти неуклюжие, простые, трезвые слова таяли у него на языке, а сам он думал, что, наверно, из-за слишком светлого своего существования родители его слепы в том мраке, где сейчас гибкой хищной кошкой прикорнула его душа.

Но сегодня он совсем по-другому потянулся к этому месту, когда оно ему вспомнилось.

По нему растекся приятный покой, словно от прикосновения твердой, доброй руки. Решение было принято в этот миг. В нем сверкнула одна мысль, и он схватил ее, не раздумывая, словно под заступничеством родителей.

Он не засыпал, пока не вернулись те трое. Затем подождал, пока по их равномерному дыханию не услышал, что они уснули. Теперь он торопливо вырвал листок из своей записной книжки и при неверном свете ночника написал большими, нетвердыми буквами:

«Завтра они выдадут тебя классу, и тебе предстоит что-то ужасное. Единственный для тебя выход — самому признаться директору. До него ведь это и так дойдет, только сначала тебя избьют до полусмерти. Свали все на Р. и Б., умолчи обо мне.

Видишь, я хочу спасти тебя».

Эту записку он сунул спящему в руку.

Затем, без сил от волнения, уснул и он.

Следующий день Байнеберг и Райтинг решили, видимо, еще оставить Тёрлесу на размышление.

А с Базини дело приняло серьезный оборот.

Тёрлес видел, как Байнеберг и Райтинг подходили к отдельным воспитанникам и как там вокруг них возникали группы, в которых взволнованно шептались.

При этом он не знал, нашел ли Базини его записку, поговорить с ним не было возможности, поскольку Тёрлес чувствовал, что находится под наблюдением.

Сначала он вообще боялся, что речь идет уже и о нем. Но он был теперь, перед лицом опасности, так подавлен ее омерзительностью, что палец о палец не ударил бы.

Лишь позднее, готовый к тому, что сейчас все будут против него, он несмело смешался с одной из групп.

Но его и не заметили. Все пока касалось Базини.

Волнение росло. Тёрлес мог это отметить, Райтинг и Байнеберг, наверно, еще приврали что-нибудь.

Сперва улыбались, затем некоторые стали серьезны, и мимо Базини зашмыгали злые взгляды, наконец над классом что-то повисло темным, жарким, беременным мрачными страстями молчанием.

Случайно вторая половина дня была свободна.

Все собрались сзади возле шкафов; затем вызвали Базини.

Байнеберг и Райтинг стояли, как два укротителя, по обе стороны от него.

Испытанный способ — раздевание — после того как заперли двери и поставили дозор — вызвал всеобщее удовольствие.

Райтинг держал в руке пачку писем, полученных Базини от матери, и начал читать их вслух.

— Дорогое дитя мое... Всеобщий рев.

— Ты знаешь, что при небольших деньгах, которыми я, будучи вдовой, располагаю...

Непристойный смех, необузданные шутки вылетают из толпы. Райтинг хочет читать дальше. Вдруг кто-то толкает Базини. Другой, на которого он при этом падает, полушутя-полувозмущенно отталкивает его назад. Третий передает его дальше. И вот уже Базини, голый, с разинутым от страха ртом, как вертящийся мяч, под смех, улюлюканье, толчки, летает по залу — от одной стороны к другой, — больно ударяется об острые углы скамеек, падает на колени, раздирая их в кровь, и наконец валится наземь, окровавленный, весь в пыли, с нечеловеческими, остекленевшими глазами, и мгновенно наступает молчание, и все теснятся вперед, чтобы увидеть, как он лежит на полу.

Тёрлес содрогнулся. Он воочию увидел силу этой ужасной угрозы.

И он все еще не знал, как поступит Базини.

Решено было в следующую ночь привязать Базини к кровати и отколошматить его клинками рапир.

Но, ко всеобщему удивлению, уже рано утром в классе появился директор. Его сопровождали классный наставник и два учителя. Базини удалили из класса и отвели в отдельную комнату.

А директор произнес гневную речь по поводу проявленной жестокости и назначил строгое расследование.

Базини сам пришел с повинной.

Кто-то, должно быть, уведомил его о предстоящем.

Тёрлеса не заподозрил никто. Он притих и ушел в себя, словно все это совершенно не касалось его.

Даже Райтинг и Байнеберг не искали в нем предателя. Свои угрозы ему они сами не принимали всерьез; они выкрикнули их, чтобы запугать его, чтобы показать свое превосходство, а может быть, и с досады; теперь, когда злость их прошла, они уже вряд ли об этом думали. Обязательства перед его родителями уж удержали бы их от действий, направленных против Тёрлеса. Это было для них так несомненно, что и с его стороны они ничего не опасались.

Тёрлес не раскаивался в своем поступке. Скрытность, трусливость этого шага скрадывало чувство полного освобождения. После всех волнений на душе у него стало удивительно ясно и просторно.

Он не участвовал во взволнованных разговорах о том, чего теперь ждать, которые повсюду велись; он спокойно прожил весь день наедине с собой.

Когда наступил вечер и зажглись лампы, он сел на свое место, положив перед собой тетрадь, где были те беглые записи.

Но он долго не читал их. Он поглаживал рукой страницы, и ему казалось, что от них исходит чем-то душистым, как лавандой от старых писем. Это была смешанная с грустью нежность, которую мы испытываем к закончившейся полосе прошлого, когда в легкой, бледной тени, встающей из нее с покойническими цветами в руках, вновь обнаруживаем забытые признаки сходства с собой.

И эта грустная легкая тень, это бледное благоухание, казалось, терялись в широком, полном, теплом потоке — жизни, открывавшейся перед Тёрлесом.

Какой-то отрезок развития кончился, душа, как молодое дерево, прибавила себе новое годовое кольцо — это еще бессловесное, захватывающее чувство прощало все, что случилось.

Тёрлес стал перелистывать свои воспоминания. Фразы, в которых он беспомощно констатировал случившееся — это всяческое удивление и смущение перед жизнью, — снова ожили, казалось, зашевелились и обрели связь. Они лежали перед ним, как светлая дорога, на которой отпечатались следы его прощупывающих почву шагов. Но им чего-то, казалось, еще не хватало; не новой мысли, о нет; но они еще не захватывали Тёрлеса со всей силой живого.

Он почувствовал себя неуверенно. И тут он испугался, что завтра ему придется стоять перед учителями и оправдываться. Чем?! Как ему объяснить им это? Этот темный,

таинственный путь, которым он шел. Если бы они спросили его: почему ты издевался над Базини, он ведь не смог бы ответить им — потому что интересовало меня при этом происходившее в моем мозгу, нечто такое, о чем я и сегодня, несмотря ни на что, еще мало знаю и по сравнению с чем все, что я об этом думаю, кажется мне неважным.

Этот шажок, еще отделявший его от конечной точки духовного процесса, через который он должен был пройти, пугал его, как страшная бездна.

И еще до наступления ночи Тёрлес находился в лихорадочном боязливом волнении.

На следующий день, когда воспитанников поодиночке вызывали на допрос, Тёрлес исчез.

В последний раз его видели вечером, он сидел за тетрадью, как будто читал.

Искали по всему училищу, Байнеберг тайком заглянул в клетушку, Тёрлеса нигде не было.

Стало ясно, что он убежал из училища, и об этом оповестили все окрестные власти с просьбой бережно доставить его.

Расследование тем временем началось.

Райтинг и Байнеберг, полагавшие, что Тёрлес бежал от страха перед их угрозой выдать его, чувствовали себя обязанными отвести от него всякие подозрения и усиленно за него заступались.

Они свалили всю вину на Базини, и весь класс, один воспитанник за другим, свидетельствовал, что Базини — вороватый, ничтожный малый, который на самые доброжелательные попытки исправить его отвечал только новыми возвратами к старому. Райтинг уверял, что они признают свою ошибку, но поступили так лишь потому, что жалость не позволяла им выдавать товарища на расправу, не исчерпав всех способов вразумить его по-хорошему, и весь класс опять клялся, что издевательство над Базини было вызвано только тем, что он с величайшим, гнуснейшим презрением отнесся к людям, которые из благороднейших побуждений щадили его.

Короче, это была хорошо согласованная комедия, блестяще поставленная Райтингом, и для оправдания были подпущены все этические нотки, которые ценил учительский слух.

Базини по поводу всего тупо молчал. С позавчерашнего дня он еще пребывал в смертельном страхе, и одиночество его комнатного ареста, спокойный, деловитый ход расследования были для него уже избавлением. Он ничего не желал себе, кроме скорого конца. К тому же Райтинг и Байнеберг не преминули пригрозить ему чудовищной местью на случай, если он даст показания против них.

Тут был доставлен Тёрлес. До смерти усталым и голодным его схватили в ближайшем городе.

Его бегство казалось теперь единственно загадочным во всем этом деле. Но ситуация была благоприятна для него. Байнеберг и Райтинг проделали большую подготовительную работу, они говорили о нервозности, которую он будто бы проявлял в последнее время, о его нравственной деликатности, которая возводила в преступление уже одно то, что он, с самого начала обо всем знавший, не заявил сразу же об этом деле и стал таким образом совиновником катастрофы.

Тёрлес был поэтому встречен уже с какой-то растроганной доброжелательностью, и товарищи вовремя подготовили его к этому.

Тем не менее он был страшно взволнован, и боязнь, что он не сумеет объясниться, вконец его извела...

По соображениям такта, поскольку опасались еще каких-нибудь разоблачений, расследование велось на частной квартире директора. Кроме него, присутствовали еще классный наставник, учитель закона божьего и преподаватель математики, которому, как младшему в этой учительской коллегии, выпало на долю вести протокольные записи.

На вопросы о мотивах своего бегства Тёрлес ответил молчанием.

Со всех сторон — понимающие кивки.

— Ну, хорошо, — сказал директор, — об этом нам известно. Но скажите нам, что

заставляло вас скрывать проступок Базини.

Тёрлес смог бы теперь солгать. Но его робость ушла. Его прямо-таки соблазняло заговорить о себе и испытать свои мысли на этих умах.

— Сам не знаю, господин директор. Когда я услышал об этом впервые, мне показалось это чем-то чудовищным... чем-то невообразимым...

Учитель закона божьего кивал Тёрлесу удовлетворенно и ободряюще.

— Я... я думал о душе Базини...

Учитель закона божьего просиял, математик протер пенсне, надел его, сощурился...

— Я не мог представить себе тот миг, когда обрушилось на Базини такое унижение, и поэтому меня все время влекло к нему...

— Ну, да... вы, вероятно, хотите этим сказать, что испытывали естественное отвращение к проступку своего товарища и что зрелище порока вас в какой-то мере завораживало, как завораживает, утверждают, взгляд змеи ее жертву.

Классный наставник и математик поспешили одобрить это сравнение энергичными жестами. Но Тёрлес сказал:

— Нет, это не было в сущности отвращение. Было так: сперва я говорил себе: он провинился и надо передать его тем, кому положено наказывать его...

— Так бы и следовало вам поступить.

— ...А потом он казался мне таким странным, что я ни о каких наказаниях уже не думал, смотрел на него совсем с другой стороны. Каждый раз во мне что-то давало трещину, когда я так о нем думал...

— Вы должны выразаться яснее, дорогой Тёрлес.

— Это нельзя сказать иначе, господин директор.

— Ну, все-таки. Вы взволнованы, мы же видим, в замешательстве... То, что вы сейчас сказали, было очень туманно.

— Ну, да, я сейчас в замешательстве. У меня уже были для этого гораздо лучшие слова. Но все равно получается одно и то же — что во мне было что-то странное...

— Хорошо... но ведь это же, наверно, естественно при всех этих обстоятельствах.

Тёрлес минуту подумал.

— Может быть, можно сказать так: есть какие-то вещи, которым суждено вторгаться в нашу жизнь как бы в двойном виде. Такими мне представляли отдельные лица, события, темные, запыленные углы, высокая, холодная, молчащая, вдруг оживающая стена...

— Но помилуйте, Тёрлес, куда вас заносит?

Но Тёрлесу доставляло удовольствие выговориться до конца.

— ...Мнимые числа...

Все то переглядывались, то глядели на Тёрлеса. Математик кашлянул.

— Для лучшего понимания этих туманных заявлений я должен добавить, что воспитанник Тёрлес однажды приходил ко мне с просьбой объяснить ему некоторые основные математические понятия, — в том числе мнимого, — которые и в самом деле могут быть затруднительны для неподготовленного ума. Должен даже признаться, что он проявил тут несомненное остроумие, однако он поистине маниакально выбирал только такие вещи, которые — для него по крайней мере — означали как бы пробел в каузальности нашего мышления. Помните, Тёрлес, что вы тогда сказали?

— Да. Я сказал, что мне кажется, что одним лишь мышлением мы через эти места перейти не можем и нуждаемся в другой, более глубокой уверенности, которая нас как бы перенесет через них. Что одним мышлением обойтись нам нельзя, я почувствовал и на примере Базини.

Директор при этом уклонении следствия в философию уже терял терпение, зато преподаватель закона божьего был очень доволен ответом Тёрлеса.

— Вы, значит, чувствуете, — спросил он, — что вас тянет прочь от науки к религиозным точкам зрения? Видимо, и по отношению к Базини было что-то подобное, — обратился он к остальным, — душа его, кажется, чувствительна к высшей, я сказал бы, к

божественной и трансцендентной сущности нравственности.

Тут директор почувствовал, что он все же обязан вмешаться.

— Послушайте, Тёрлес, так ли обстоит дело, как говорит его преподавание? Вы склонны искать за событиями или вещами — как вы довольно общо выражаетесь — религиозную подоплеку?

Он сам был бы уже рад, если бы Тёрлес ответил наконец утвердительно, дав твердую почву для суждения о нем; но Тёрлес сказал:

— Нет, и не это.

— Ну, тогда скажите наконец без обиняков, — выпалил директор, — что это было. Мы же не можем сейчас пускаться с вами в философские споры.

Тёрлес, однако, заупрямился. Он сам чувствовал, что говорил плохо, но и это возражение, и тот основанный на недоразумении одобрителный отклик дали ему чувство высокомерного превосходства над этими старшими, которые, казалось, так мало знали о состояниях человеческой души.

— Я не виноват, что это совсем не то, что вы имеете в виду. Но я сам не могу точно описать, что я ощущал каждый раз. Но если я скажу, что думаю об этом теперь, вы, может быть, и поймете, почему я так долго не мог освободиться от этого.

Он выпрямился, так гордо, словно он здесь судья, его глаза прямо проходили мимо этих людей; ему не хотелось глядеть на эти смешные фигуры.

За окном сидела на ветке ворона, больше ничего не было, кроме белой равнины.

Тёрлес чувствовал, что пришло мгновение, когда он ясно, внятно, победительно заговорит о том, что сначала неясно мучило его, затем омертвело и обессилело.

Не то чтобы какая-то новая мысль дала ему эту уверенность и ясность, нет, он весь, выпрямившийся сейчас во весь рост, словно вокруг него ничего не было, кроме пустого пространства, — он всей своей человеческой целостностью чувствовал это, как почувствовал тогда, когда его изумленные глаза блуждали среди пишущих, занятых учеников, корпящих над работой товарищей.

Ведь с мыслями дело обстоит особо. Они часто всего-навсего случайность, которая приходит, не оставляя следа, и у мыслей есть свои мертвые и свои живые моменты. Может прийти гениальное озарение, и оно все же увянет, медленно, исподволь, как цветок. Форма останется, а краски, аромат исчезнут. То есть помнишь-то его слово в слово, и логическая ценность найденной фразы полностью сохраняется, но она только все вертится по поверхности нашего внутреннего мира, и мы не чувствуем себя богаче из-за нее. Пока — может быть, через много лет — вдруг снова не приходит мгновение, когда мы видим, что все это время совершенно не помнили о ней, хотя логически все помнили.

Да, есть мертвые и живые мысли. Мышление, которое движется по освещенной поверхности, которое всегда можно проверить нитью причинности, это еще не обязательно живое мышление. Мысль, которую встречаешь на этом пути, остается безразличной, как любой человек в колонне марширующих солдат. Мысль — пусть она уже давно приходила нам на ум — становится живой только в тот момент, когда к ней прибавляется нечто, уже не являющееся мышлением, уже не логическое, так что мы чувствуем ее истинность по ту сторону любых оправданий, как якорь, которым она врезалась в согретое кровью, живое мясо... Великое понимание вершится только наполовину в световом кругу ума, другая половина — в темных недрах естества, и оно есть прежде всего душевное состояние, самое острие которого мысль только увенчивает как цветок.

Только потрясение души нужно было еще Тёрлесу, чтобы взметнулся этот последний побег.

Не обращая внимания на озадаченные лица вокруг, словно лишь для себя, он продолжил и, не переводя дыхания, глядя прямо вперед, договорил до конца:

— ...Я, может быть, еще слишком мало учился, чтобы правильно выражаться, но я это опишу. Только что это снова было во мне. Не могу сказать иначе, чем что вижу вещи в двух видах. Все вещи; и мысли тоже. Сегодня они такие же, как вчера, когда я пытаюсь найти

различие между ними, но стоит мне только закрыть глаза, как они оживают в другом свете. Возможно, я и ошибался в случае с иррациональными числами. Когда я смотрю на них как бы по линии математики, они для меня естественны, когда я подхожу к их странности прямо, они мне кажутся немыслимыми. Но тут я могу и ошибаться, я слишком мало знаю о них. Но я не ошибался с Базини, не ошибался, когда не мог отвернуть своего слуха от тихого журчания высокой стены, своего зрения от беззвучной жизни пыли, которую внезапно осветил фонарь. Нет, я не ошибался, когда говорил о второй, тайной, незамеченной жизни вещей!.. Я... я это не в буквальном смысле... не то что эти вещи живые, не то что у Базини было два облика... но во мне было что-то второе, что на все это не смотрело глазами разума. Так же, как я чувствую, что во мне оживает какая-то мысль, я чувствую, что при виде вещей что-то живет во мне, когда мысли молчат. Есть во мне, под всеми мыслями, что-то темное, чего я не могу вымерить мыслями, жизнь, которая не выражается словами и которая все-таки есть моя жизнь... Эта молчащая жизнь угнетала, теснила меня, меня всегда тянуло всмотреться в нее. Я страдал от страха, что вся наша жизнь такова, а я лишь от случая к случаю частями о том узнаю... о, мне было ужасно страшно... я сходил с ума...

Эти слова и сравнения, Тёрлесу совсем не по возрасту, в огромном волнении, в минуты почти поэтического вдохновения слетели с его губ легко и естественно. Теперь он понизил голос и, словно объятый своим страданием, прибавил:

— ...Теперь это прошло. Я знаю, что я все-таки ошибался. Я уже ничего не боюсь. Я знаю: вещи — это вещи и таковыми, вероятно, останутся навсегда. И я, вероятно, буду смотреть на них то так, то этак. То глазами разума, то другими... И я больше не буду пытаться сравнивать одно с другим...

Он умолк. Он считал совершенно естественным теперь уйти, и никто ему не помешал это сделать.

Когда он вышел, оставшиеся озадаченно переглянулись.

Директор в нерешительности качал головой. Классный наставник первым нашел слова:

— Ну, этот маленький пророк решил нам, видно, прочитать лекцию. Но тут черт ногу сломит. Это волнение! И при этом такая путаница в простейших вещах!

— Рецептивность и спонтанность мышления, — подхватил математик. Похоже, что он слишком много внимания уделил субъективному фактору всех наших впечатлений и что это смутило его и толкнуло на туманные сравнения.

Только учитель закона божьего промолчал. Он не раз выхватывал из речей Тёрлеса слово «душа» и с удовольствием взялся бы за этого молодого человека.

Но он все-таки толком не знал, что имелось в виду.

Директор, однако, положил конец этой ситуации.

— Не знаю, что, в сущности, в голове у этого Тёрлеса, но во всяком случае он находится в такой степени возбуждения, что пребывание в училище ему, пожалуй, уже не на пользу. Нужно более тщательное наблюдение за его духовной пищей, чем то в силах осуществить мы. Не думаю, что мы можем нести ответственность далее. Тёрлесу нужно домашнее воспитание. Я напишу на этот счет его отцу.

Все поспешно согласилось с этим хорошим предложением добропорядочного директора.

— Он действительно был такой странный, что я уж подумывал, что он предрасположен к истерии, — сказал математик своему соседу.

Одновременно с письмом директора к родителям пришло письмо Тёрлеса, где тот просил взять его из училища, потому что он больше не чувствует себя там на месте.

Базини тем временем был в наказание исключен. В школе все шло привычным ходом.

Было решено, что Тёрлеса заберет мать. Он равнодушно прощался с товарищами. Он уже начинал забывать их фамилии.

В красную клетушку он больше не поднимался. Все это, казалось, ушло от него далеко-далеко.

После удаления Базини это было мертво.словно тот человек, который приковал к себе

все эти отношения, унес с собою и их.

Что-то тихое, подернутое сомнением объяло Тёрлеса, но отчаяние прошло. «Оно было таким сильным, наверное, только из-за тех тайных дел с Базини», думал он. Никаких других причин он не усматривал.

Но ему было стыдно. Как бывает стыдно утром, когда тебе ночью, в лихорадке, мерещилось во всех углах темной комнаты что-то ужасное.

Его поведение перед комиссией — оно казалось ему чудовищно смешным. Столько шума! Разве они не были правы? Из-за такого пустяка? Было, однако, в Тёрлесе что-то, что делало этот стыд не таким жгучим. «Конечно, я вел себя неразумно, — размышлял он, — однако все это вообще вряд ли имело отношение к моему разуму». В этом и состояло теперь его новое чувство. В его памяти осталась страшная душевная буря, для объяснения которой было далеко не достаточно тех причин, что он теперь еще находил в себе для этого. «Значит, было, наверно, что-то более необходимое и более глубокое, — заключал он, чем то, что можно объяснить с помощью разума и понятий...»

А то, что присутствовало до страсти и было страстью только заглушено, суть дела, проблема, осталось незыблемо. Эта меняющаяся по мере удаления и приближения психологическая перспектива, которую он увидел. Эта непостижимая связь, которая в зависимости от нашего взгляда придает внезапную ценность событиям и вещам, совершенно не сравнимым друг с другом и чуждым друг другу...

Это и прочее... он видел это удивительно ясно и четко — и уменьшенно. Как видишь утром, когда первые чистые лучи солнца высушат холодный пот и когда стол, и шкаф, и враг, и судьба опять влезают в свои естественные размеры.

Но тогда остается тихая, задумчивая усталость, и так и случилось с Тёрлесом. Он теперь умел делать различие между днем и ночью — собственно, он всегда это умел, и только нахлынувший тяжелый сон размыл эти границы, и он стыдился такого смешения. Но память о том, что все может быть иначе, что есть вокруг человека тонкие, легко стираемые границы, что вокруг души витают лихорадочные сны, которые истачивают крепкие стены и открывают жутковатые улочки, — эта память тоже глубоко в нем засела и излучала бледные тени.

Из этого он мало что мог объяснить. Но ощущение этой бессловесности было восхитительно, как уверенность оплодотворенного тела, которое уже чувствует в своей крови тихую тягу будущего. И в Тёрлесе смешивались усталость и вера.

Поэтому он и ждал прощанья тихо и задумчиво...

Его мать, думавшую, что встретит возбужденного и смущенного молодого человека, поразило его холодное спокойствие.

Когда они ехали на вокзал, справа от них была рощица с домом Божены. Она казалась очень незначительной и безобидной — пыльное сплетение деревьев, ива, ольха.

Тёрлес тут вспомнил, как невообразима была для него тогда жизнь родителей. И он украдкой посмотрел сбоку на мать.

— В чем дело, мой мальчик?

— Ничего, мама, просто подумалось что-то.

И он принялся к слабому запаху духов, который донесся от талии матери.